

МЫ С ТОБОЙ



Мы с тобой

Одесса
2020

УДК 821.161.2'06
ББК 84(4Укр-4Оде-2Оде)63
М 94

Мы с тобой :: сборник / Кол. авторов; илл. М. Рева. – Одесса:
Бондаренко М. А., 2020. – 120 с. : илл.

ISBN 978-617-7829-76-7

«Мы с тобой» – это сборник текстов, посвящённых Евгению Михайловичу Голубовскому. Стихи, проза, эссе – объединить эти формы, казалось бы, невозможно, но тексты по праву находятся под одной обложкой, ибо в них есть сквозной герой и вдохновитель: удивительный и многоликий Евгений Михайлович. Переходя от рассказа к стихотворению, от стихотворения к эссе, вы узнаете не одну историю дружбы, ученичества, поиска себя, поиска смысла, служения людям и наконец (а может, и на начало!) – любви во всех её проявлениях.

УДК 821.161.2'06
ББК 84(4Укр-4Оде-2Оде)63

© Коллектив авторов, текст, 2020

© Михаил Рева, иллюстрации и обложка, 2020

© Студия «Зелёная лампа» при Всемирном клубе одесситов, 2020

ISBN 978-617-7829-76-7

Краткое вступительное слово

Эта книга – наше приношение, наше признание в любви к Евгению Михайловичу Голубовскому. Здесь собраны совершенно разные тексты, написанные в большинстве своём совсем недавно. Тексты участников и друзей нашей литературной студии «Зелёная лампа», которую Евгений Михайлович ведёт уже одиннадцать лет, и которая всех нас объединила и сдружила. Ну а что литераторы могут подарить своему учителю? Конечно же, слова.

Евгений Михайлович, мы старались!
С днём рождения!



 K.A.M.

Содержание

<i>Елена Андрейчикова. Заклинание</i>	7
<i>Игорь Божко. Ода</i>	12
<i>Татьяна Гончаренко. Ода юбиляру</i>	16
<i>Евгений Деменок. Учитель и друг</i>	18
<i>Янина Желток. Про Евгения Михайловича и бутерброды</i> . . .	24
<i>Вера Зубарева. Евгению Голубовскому</i>	28
<i>Владислава Ильинская. Лаз.</i>	30
<i>Ольга Ильницкая. Мужская проза / Когда доживёшь</i> . . .	32/43
<i>Анатолий Контуш. На плечах гигантов</i>	49
<i>Виктория Коритнянская. А кто такой Голубовский?</i>	51
<i>Ганна Костенко. Як я познайомилася з Євгеном Михайловичем Голубовським (спогад).</i>	55
<i>Ольга Ладохина. Загадки одесского Книжника</i>	63
<i>Анна Михалевская. Под парусами или без</i>	68
<i>Елена Палашек. Вальс свободной блажи</i>	77
<i>Игорь Потоцкий. Евгению Голубовскому</i>	85
<i>Сергей Рядченко. Атлант</i>	86
<i>Анна Стреминская. Е.М. Голубовскому</i>	90
<i>Ирина Фингерова. Джинн с джином</i>	92
<i>Юлия Цымбал. Евгению Голубовскому</i>	105
<i>Эвелина Шац. По ту сторону времени</i>	106
<i>Алёна Яворская. Женя</i>	108
<i>Вадим Ярмолинец. Хранитель оставленного дома</i>	117

Елена Андрейчиковна

Заклинание

– Михалыч, нет сил, нет желания, нет надежды. Что делать? Как быть? Поговорите со мной! Выпьем кофе?

– Только коньяк.

– С лимоном? С маслинами?

– Хватит нам в жизни кислого. Только сладкое. Давай с шоколадом.

– За вас!

– За тебя. И за Лолиту. Ей сегодня шестьдесят пять.

– Малышка повзрослела.

– А мы – никогда.

– До дна?

– До дна.

– Жизнь налаживается.

– Жизнь всегда налажена. Только не надо паниковать.

– О чём мы говорили?

– О том, как страшно тебе жить.

– Да не так уж и страшно. Тем более когда вы рядом. Скорее странно. А вам?

– А я привык. Ещё по одной?

– Но я уже пьяна.

– Не преуменьшай свои способности.

– Ладно, по одной.

– Заедай. С орехами. С изюмом. С карамелью.

На выбор.

– На выбор – это хорошо. Часто я не вижу выбора.

– Невнимательно смотришь.

– Так вы много наливаете. Чёткость пропадает.

– Я по чуть-чуть наливаю. Сейчас появится.

– Ещё по одной, и я расплачусь.

– Плачь. Станет легче. А чего плачешь?

– Я же говорю: нет сил, нет желания, нет надежды.

– А руки есть?

– Да.

– И голова?

– Да.

– И мысли?

– Конечно.

– Вот и пиши. С силами, желанием и надеждой любой может. Главное, пиши. Давай так: к концу месяца – черновик. К концу года – книга.

– Михалыч!

– Что, уже наливать?

– Нет. Послушайте. Поймите. Вы давите. Я не готова. Я не решаюсь. Но я не могу вам отказать. Я же должна оправдать ваши надежды.



– Вот и оправдывай. Чехонте побыла. Пробуй Чеховым. До конца года жду.

– Я попробую.

– И перестань наконец строить из себя девственницу.

– Что???

– У тебя герои не любовью занимаются, а нитьём. Пусть любовью. Не стыдись. Им надо. Они молоды. Им положено.

– Хорошо.

– Вот и умница. Учись у Набокова. Или Генри Миллера.

– Я не умею.

– Они тоже так думали. Кстати, где-то есть у меня фотография Миллера с автографом. Подарю.

– Ого!

– Ага. Ещё по одной?

– Мы сможем?

– Легко.

– Всё-то вам легко.

– О да, конечно. Мне легче всех. Бери шоколадку.

– Напишу я её. И что дальше? Кому это нужно? Кто сейчас книги читает?

– Я.

– Ну и я.

– Ещё знаю пару сотен. Уже тираж. Пиши. Ты, главное, пиши. Не бойся. И улыбайся. Тебе идёт.

– Пишу. Улыбаюсь. Почти не боюсь. Признайтесь: вы волшебник?

– Нет. Зачем? Вы и сами всё можете. Я просто верю. Во всех вас. Верю в тебя.

– Всё-таки звучит как заклинание.

– А вот коньяк – волшебный. Но чудеса бывают. Их делают люди. После сборника рассказов подумай о романе. Ты сможешь.

– Михалыч!

– Какие ещё вопросы?

– Нет вопросов. Есть пожелание.

– ?

– Наливайте.

Игорь Болжа

Ода

В честь моего славного товарища Евгения Голубовского.
В честь памяти нашей о работе в газете «Комсомольская искра».

Живёт в Одессе журналист
Евгений Голубовский.
А в нём живут сто тысяч лиц,
без документов и границ.
Все те – с кем пил, о ком писал,
кого любил и любит.
Он, как один большой вокзал,
в котором люди, люди...
Ты помнишь, Женя, как тогда,
в сплошном социализме –
(светила красная звезда)
служили мы отчизне?
Походы в «Красный»,
табака – роскошные с полочки.

А над странною облака,
то облака, то тучки.
И тот полночный преферанс
в твоей квартире съёмной.
А за окном весёлый наш –
социализм огромный.
И «Комсомольская искра»
искрит на всю планету.
А мы играем в преферанс
(в застой!) зимой и летом.
Дорогой верною мы шли,
как завещал нам Ленин.
Употребляли алкоголь
без усталы и лены.
И книжки умные притом
читали днём и ночью.
Всё остальное – суп с котом,
я это знаю точно.
Ещё я знаю, что тебе
всю жизнь, всегда – двадцатка!
(Приятно пьётся в декабре
и горько так, и сладко.)
И за тебя я съем вполне
сегодня пару стопок.
(Ах, сколько бродит по стране
красивых ног и попок!)
Я знаю, Женя, ты всегда
ценил не только слово.



Пусть женских попок красота
тебя коснётся снова.
Ещё я знаю, что в любой
тусовке молодёжной –
всегда ты самый молодой,
красивый и надёжный.
И пусть Господь тебе пошлёт
ядрёной силы духа.
И улыбалась чтоб судьба
от уха и до уха.
И чтоб до сотни дотянуть
как минимум. Так надо!
Таков наш комсомольский путь:
от щей – до шоколада!

Татьяна Гончаренко

Ода юбиляру

Бессменный страж литературы,
блистательный знаток.
Произведение любое узнает
с первых строк.
А элегантную его сутулость
не спутаешь ни с чьей другой фигурой.
И взгляд его чуть-чуть с прищуром
Бывает грустным иногда.
Ведь он давно раб лампы,
Но не Аладдина,
«Зелёной лампы».
Здесь только нету господина,
Здесь все на равных.
А мы, художники, поэты,
Не мыслим жизни без него.
Он помнит всех, все на примете.
Все взяты под его крыло.
Ещё он Клуба одесситов
Надёжный вице-президент.

И у него есть юный друг – Евгений-младший.
А попросту – Евгений Деменок.
Не только на бумаге
Он угостит грузинской чачей,
Писатель, эссеист,
Исколесил немало он дорог.
Есть друг постарше –
Всем известный Феликс Кохрихт.
По весу юбиляру
Ни в чём не уступает.
Их плодотворный дружеский тандем
Всё крепче, всё пышнее расцветает.
Друзей и почитателей у юбиляра
Поистине немало.
Достоин безусловно он похвал, наград
И всяческих регалий.
Но знаю только я желание его –
Чтобы духовность никогда не исчезала...

Евгений Деменок

Учитель и друг

О Евгении Михайловиче Голубовском

Вот уже двенадцать лет, как пятое декабря для меня – особенный день. День рождения Евгения Михайловича Голубовского.

Двенадцать лет... Кажется, мы знакомы гораздо, гораздо дольше.

Нет, мы действительно знакомы гораздо дольше, но вряд ли Евгений Михайлович обращал внимание на меня, шестилетнего, игравшего с Катей Мальцевой на даче у Николая Алексеевича Полторацкого. А я, разумеется, не понимал, о чём они говорят, что обсуждают.

Дорого бы я дал сейчас за то, чтобы вновь услышать их разговоры.

Зато сейчас я ловлю каждое слово Евгения Михайловича. Как и все те, кто приходит в гости к нему домой, в квартиру на Большой Арнаутской.

Оно и понятно – людей с таким багажом знаний об истории и культуре Одессы в городе можно пере-

считать по пальцам. Да что в городе – в мире. Опять же, совершенно не обязательно ограничиваться Одессой: иногда кажется, что он знает всё и обо всём, а главное – в курсе всех последних событий.

Замечать новое и заново открывать забытое – присущий ему особый дар. Благодаря Евгению Михайловичу одесситы вновь открыли для себя Владимира Жаботинского и Ефима Зозулю, Анатолия Фиолетова и Владимира Пяста. А уж сколько предисловий к вышедшим в нашем городе книгам он написал, не знает, думаю, даже он сам.

Именно от Голубовского одесситы всего мира узнали и продолжают узнавать о выдающихся и просто интересных одесских художниках – живущих ныне и живших сто лет назад. Именно благодаря ему смогли в застойные годы устроить свои первые выставки многие художники, проповедовавшие «неофициальное» искусство, а одесситы узнали о них из его статей, газетных публикаций.

Говоря о Евгении Михайловиче, всегда хочется употреблять восторженные эпитеты. Всегда, самый, лучший...

Всегда интересный. Всегда новый. Всегда современный.

Самый интеллигентный. Самый знающий. Самый начитанный.

Лучший журналист. Лучший искусствовед. Лучший литературовед.

А главное – лучший человек.

Нисколько не преувеличу, если скажу, что Голубовского знают, любят и ценят везде – от Одессы до Нью-Йорка, от Москвы до Иерусалима, от Праги и Милана до Сиднея.

Есть множество вещей, которым можно у него научиться. С которых можно брать пример.

Одна из них – скромность. «Не надо заводить архива, над рукописями трястись», – это о нём. То есть архив, конечно, есть, но связан он с любимой на протяжении всей жизни поэзией. С литературой и живописью. А вот статьи, заметки, очерки о себе он не собирает. Хотя они, пожалуй, заняли бы пару книжных шкафов.

Вторая – осознание своей миссии.

«Цель творчества – самоотдача, / А не шумиха, не успех. / Позорно, ничего не знача, / Быть притчей на устах у всех».

Да-да, именно самоотдача. В течение всей жизни он делится своими знаниями, советами, мыслями. Евгений Михайлович всегда в центре культурных событий. Его телефон не умолкает. Он успевает прочесть присланную рукопись и организовать презентацию, выступить на открытии выставки и написать статью – и так почти каждый день.

Он неоднократно говорил мне, что мог бы уехать ещё в 90-х. Но решил, что кто-то должен остаться в Одессе, быть ответственным за город.

Третья – любовь к свободе. Он не ищет благосклонности власть имущих, не ходит по высоким кабинетам. Не гонится за званиями.

- Евгений Михайлович, как вас представить?
- Просто журналист. Одесский журналист.

Четвёртая – благородство. «И должен ни единой долькой / Не отступить от лица». Он всегда верен себе и своим принципам. «Евгений» в переводе с греческого – благородный. Евгений Михайлович, как никто, соответствует этому имени.

Юрий Михайлик написал как-то:

«Голубовский – как говорят архитекторы – градообразующий фактор».

И это ни в коей мере не является преувеличением.

Во многом благодаря Евгению Михайловичу в 1960–70-х возродился образ Одессы – образ города необычного, не такого, как все; города с уникальными людьми, со своей контркультурой, со своим уникальным прошлым. Сегодня мы привычно называем это «одесским мифом», и по сей день знатоки Одессы, краеведы и просто фанаты нашего города, зачастую сами того не зная, продолжают начатое им дело.

Две истории о Евгении Михайловиче я рассказываю тем, кто по нелепой случайности с ним ещё не знаком. Историю об улице Бунина и историю о диспуте о современном искусстве в политехе. Согласитесь, редкий советский студент мог непринуждённо рассказать о том, что в институте его восстановили благодаря заступничеству Ильи Эренбурга и Бориса Полевого. Сейчас нам трудно себе представить, что за рассказ об импрессионистах и кубистах у лектора могут быть какие-либо неприятности, а тогда, в 1956 году, это

могло погубить карьеру и даже судьбу. И всё же, когда встал вопрос, кто именно выступит с докладом, сомнений ни у кого не возникло – Женя Голубовский знал тему лучше всех.

Живопись и литература. Любовь к ним изменили его судьбу. Карьеры инженера, к счастью, не случилось, и в одесской журналистике на десятилетия появилась новая звезда. И сегодня Евгений Михайлович задаёт тренды в одесской журналистике, в художественной и литературной критике.

Но он не только задаёт тренды. Он обладает удивительным даром вдохновлять. Трудно сосчитать авторов, которые благодаря ему нашли название для книги или тему для рассказа, идею для статьи и просто нужную, иногда критически важную информацию.

Одиннадцать лет назад мы задумали открыть при Клубе одесситов литературную студию. Так появилась «Зелёная лампа». За эти годы у нас читали свои стихи и прозу более ста авторов, мы выпустили больше десятка сборников и с гордостью можем сказать, что хорошая литература в Одессе есть.

Я счастлив, что в соавторстве с Евгением Михайловичем мы выпустили три сборника интервью с одесскими художниками «Смутная алчба». Знаю, что сборники эти есть на книжных полках многих ценителей одесского искусства.

А ещё я счастлив тому, что несколько лет назад у Евгения Михайловича вышла долгожданная собственная книга – «Глядя с Большой Арнаутской». Ведь

он написал так много предисловий и вступлений к книгам одесских – и не только – авторов, стольких вдохновил на творчество, что его собственная книга давно уже назрела.

Недавно мы с Евгением Михайловичем открыли мемориальную доску Давиду Бурлюку. Владимир Маяковский написал о Бурлюке такие строки:

«Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Всковывал книги. Ходил и говорил без конца».

Не знаю, почему, но именно эти строки пришли мне в голову, когда я начал писать о Евгении Михайловиче.

Прекрасный друг. Мой действительный учитель.
Евгений Михайлович, вы нам очень нужны!

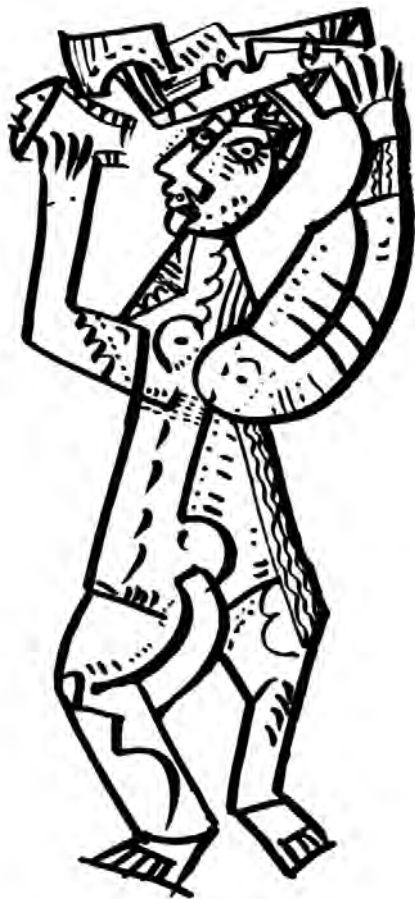
Янина Желток

Про Евгения Михайловича и бутерброды

Началось так. Поэт Игорь Потоцкий собрался ехать в Мексику и перед самым отъездом сказал нам, участникам «Потока»: «Женя Голубовский хочет сделать литстудию при Клубе одесситов. Я уеду, так вы ходите туда».

В Клубе одесситов Голубовский и Деменок рассказали про идею новой «Зелёной лампы», а в перерыве накормили поэтов бутербродами и напоили вином. Я подумала: это же замечательно гуманно – кормить поэтов бутербродами! Прозаики не такие голодные, но их тоже надо иногда подкармливать. (Бутерброды выстояли во всех революциях и не закончились до сих пор.)

Я лопала бутерброды, запивая их то шампанским, то красным вином с большой радостью и, как сейчас модно говорить, с «активным согласием». И вот на пятом или шестом заседании Евгений Михайлович подошёл ко мне и сказал в своей приятной мягкой



манере: «Вот вы приходите к нам, но ничего не читаете. Давайте в следующий раз вы подготовите и прочтёте несколько своих рассказиков». Я поняла: настал момент отрабатывать бутерброды. Пришла и принесла несколько смешных и несмешных историй, прочла, и, помню, сразу одну из них Евгений Михайлович опубликовал в газете, вторую – в альманахе. Это было очень здорово.

Потом я работала в журнале «Афиша Одессы», писала про выставки и узнала, что каждый месяц Евгений Михайлович придумывает, а потом открывает новую экспозицию в ВКО. Я звонила ему по телефону, и он про каждого художника рассказывал так, что можно было сразу печатать его текст в журнале. Слово в слово. Это было замечательно.

Помню вечер, когда я сидела в кафе с компьютером и писала главу для буриме-романа «Не судите чёрных овец». Его тоже придумал Евгений Михайлович. Мне нужно было уезжать, я сомневалась, успею ли. И вот наш дорогой сегодняшний юбиляр звонит мне и интересуется, получится или не получится. Я отвечаю: «Вроде всё в порядке, сейчас пришлю», – и отправляю ему половину главы. И думаю, что, конечно, так никогда нельзя делать. Не законченное никому не стоит отправлять. Но тут особый случай: если на текст посмотрит Евгений Михайлович, текст станет только лучше, даже если это половинка. И действительно. Он присылает: «Симпатично, продолжай», – и я плавно дописываю главу до конца.

У меня в жизни было несколько классных редакторов, и Евгений Михайлович среди них, конечно, самый классный. В тот вечер я поблагодарила за роскошь общения с этими прекрасными людьми моих святых угодников.

И вот из свежих впечатлений. Пишу мой первый роман, в котором будет эротика. (Почему нет? Мы же современную литературу делаем? Современную.) Отправляю несколько глав Евгению Михайловичу. Отвечает, что много раз упоминается слово «секс», но это лишь слово, а надо добавить траха. Я смеюсь, рассказываю друзьям, что одесский редактор требует наполнить текст трахом. При этом добавляю, что одесскому редактору 80 лет. (Вдруг мне горят – 84. Что за фокус?)

Отправляю ещё одну эротическую главу, самую знойную. Евгений Михайлович пишет в ответ: «Детсадовская эротика!». Но не ругает, а всячески подбадривает, что для литератора просто клад, спросите любого.

«Добавь полётности» – мой любимый из его советов.

И вот прямо сегодня, в последний день лета, получаю от Евгения Михайловича подарочек. Это мантра. «Повторяй как мантру: я свободный человек, вольная дочь эфира, мне всё по плечу, по колену, по зубам, по языку. Я пишу самую свободную книгу в мире». Евгений Михайлович, я Вам очень благодарна! С ДР! И до 120!

Вера Зударева

Евгению Голубовскому

* * *

Рождённый в декабре, несёшь тепло.
Излука переулка – как интрига.
И сыплет снег, и воздух замело,
Но дышит там, за пазухою, книга.
Она жива, и ты её несёшь,
Она прижалась с верою младенца
И спит, и греет, отгоняя дрожь,
Пульсируя с тобою сердце в сердце.
Метёт метель. Одесса, Ленинград...
Конармия снежинок в Достоевском...
Нет, это Пушкин вьюжит, встрече рад,
И потекает кутерьме окрестной.
А ты идёшь сквозь сон мостов Невы,
Библиотек декабрьских коридоры
К началу самой трепетной главы,
Где примет книгу Та... и скоро... скоро...



Ничто не даётся так трудно душе, как стихи.
Особенно те, что растут из неё, а не сора.
Я снова иду, приглушая немного шаги,
И ждёт меня свет, что за дверью в конце коридора.
Войду, расскажу, что с утра небеса развезло,
И было по ним продвигаться задачей нелёгкой.
Что рельсы двустий упёрлись в туман, как назло,
И выйти пришлось на какой-то другой остановке.
А там – бездорожье, и всё незнакомо опять.
Бродила, и слякоть одну развезла по тетради.
А он мне в ответ: ничего, мол, стихи написать –
Не жизнь бередить. И столетья, бывало, не хватает.
И выудит вечер из облака рыбку-звезду.
И спустимся в жизнь мы на лифте, и буду я праздно
Пирожное с чаем вкушать в той столовой внизу,
Садиться в трамвай и вздыхать,
Что в стихах – всё сложнее. Гораздо.

Владислава Ивнинская

Лаз

Е. Г.

я ловлю в экран квадрат портала,
лазурита крошечный клочок.
отраженье мне бы не мешало,
если был бы телефон включён.

аккомпанемент соседской дрели
прорубает в памяти тоннель:
вспоминаю небо и качели,
из Столярского виолончель...

тут его практически не видно –
от экрана голубая треть –
путь назад, теряющий ликвидность,
детство заставляющий стареть.

остальное пусть заполнят рифмы,
потому что, если не они –

паутины сладостные рифы
путника стремятся заманить.

поднимаю голову на небо
сквозь глазок меж бесконечных крыш
и гадаю: как решить сей ребус?
как такой пейзаж изобразишь?

как вообще дошли мы до такого,
как мы до такого добрали,
что не видно неба голубого
из любого уголка земли?

среди буден с привкусом металла
носимся и мы вперед-назад...
только неба мне и не хватало –
я его нашла в твоих глазах.

Ольга Ивницкая

Мужская проза

Евгению Голубовскому, подарившему мне 3,14-левина
и 3,14-кассо

У него было место 7Г, а у меня – 7В. Рейс «Одесса – Париж».

Он проходит мимо меня, будто мы и не сидели полдня рядом. Противный донельзя. Ногой толкает картонную коробку. В левой руке паспорт, в правой – зачехлённый ноутбук. Таможенник спрашивает, кивая на водку:

– Это что?

– Водка это.

– Посчитайте!

Посчитал.

– Нельзя, – удивлённо сказал француз. – Нельзя столько.

– Так не для одного же. Одесситы, – зычно закричал, – поднимите руки!

Двадцать рук поднялось на его голос.

– Видите, даже не хватает, – сказал.

Так и шёл по зелёному коридору, толкая ногой свою коробку под понимающие ухмылки таможенников. Оценили.

Он в машину загружался, когда я споткнулась. И круглая моя коленка обнажилась, и кровь побежала. И петельки капроновые побежали вдоль полной левой в английской лодочке. Запихнул он свою коробку в салон машины и бросился ко мне. Клетчатый чистым платком промокнул ссадину.

– 3,14-левин, – представился.

И я оказалась на заднем сидении машины рядом с водкой.

– Алкоголик?

– Почти, – ответил. – Писатель.

– Что пишете?

– Мужскую прозу, – оглянулся и застрял взглядом на раненой коленке.

– А зачем же...

– А поспорил, – заторопился он. – Сколько надо, столько и провёз, выиграв, как видите. И, кажется, вдвойне. А вы о чём спрашиваете? О прозе? О водке?

– О тебе!

Опять оглянулся не без интереса.

В общем, ящик водки он доставил по адресу. А меня – нет.

Четвёртые сутки я смотрю на Париж из окна его мансарды. А меня разыскивает мой 3,14-кассо.

Я сообщила ему о приключении, но в студии, как договаривались, не появилась. Иногда мы с Пи-кассо переговариваемся. И всякий раз, звоня ему, я смотрю в расщелину улицы. Парижане кажутся приплюснутыми высотой. Они бегут под зонтами, словно грибница передвигается с места, торопливо шевеля шляпками, разноцветными, как сыроежки.

– Думаю, ещё не завтра появлюсь, – сказала сегодня Пи-кассо.

...Пи-левин почти не спит. Задумчиво трёт виски. Глядит в монитор, смаргивающий текст. Правая кисть Пи-левина легонько подрагивает, шевеля мышкой. Бежит строка: «Куда идёшь-то? – крикнула Любочке задорная баба в оранжевой безрукавке, с ломом в руках стоявшая за воротами».

Любочка – это я.

Я сказала Пи-левину, что иду, наконец-то, в студию. Уже пятые сутки иду. И вообще, сидение начало раздражать.

За пять суток я похудела на пять килограмм: было от чего. Но мне уже стало скучно, скучно смотреть медленное шевеление строчек на марше. Скучно смотреть на шевеление грибницы внизу. На идущий дождь. И окно у него давно не мыто.

Тусклым голосом Пи-левин сообщил, что ему пруха пошла. Хорошая проза. И проворчал:

– Не сбивай с ритма и сиди, сколько положено сроком.

Срок он сам определил.

Монитор высветил: «А если провод под током разорвать, что будет?».

Я закрыла Пи-левиному глаза поцелуем и сообщила, что читать скучно.

– Меня или вообще?

– Читать так долго... Ты медленно пишешь.

На нас наступали шестые сутки.

В три утра позвонил Пи-кассо, и автоответчик оповестил (трубку мы не снимали), что какого чёрта, совесть нужно иметь, а если ты шлэндра, то это проявится в натуре, картина отобразит, и ты себя за локоть укусишь, потому что я выставлю её на вернисаже.

Пи-левин прислушался, сбился с ритма, спросил:

– Портрет? В каких тонах?

– В цвете беж.

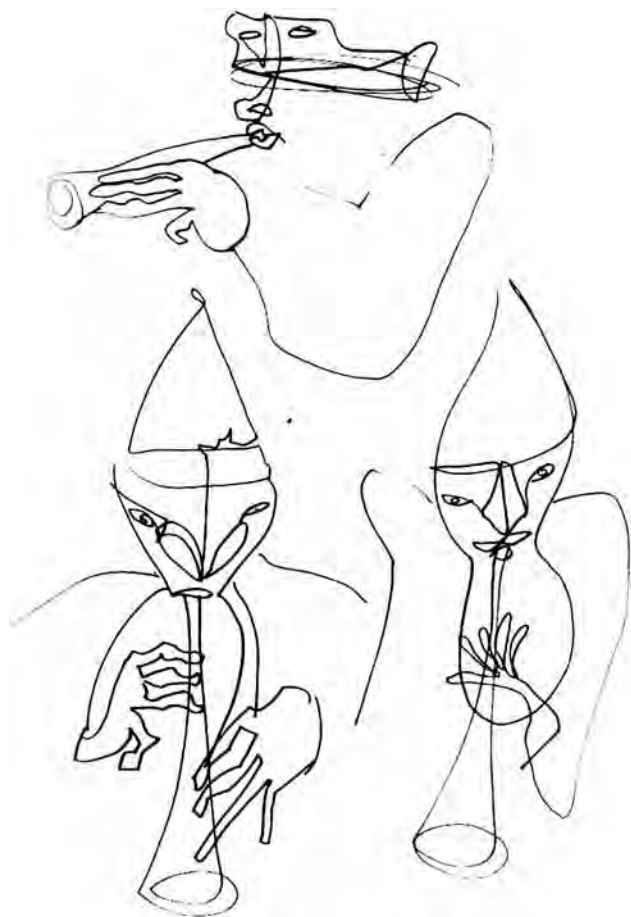
– И без? – спросил задумчиво.

Задышал потом, совсем как я перед звонком. Тут всё и кончилось. Он сразу зашевелил правой кистью, чем раздражил меня окончательно. Остывая, спросила:

– А экономический эффект какой ожидается? Этих твоих шевелений? – и хлопнула его по руке.

– Это обязательно надо? – раздражился Пи-левин.

Но тут же опять пальцы его побежали по клавиатуре, а по экрану – строка: «...или расчёт экономического эффекта, или акт его отсутствия. Ещё нужен акт его использования».



- Как используют акт?
- Как повкуснее, сладкая моя, – рассердился вдруг.

И опять он сидит, уставившись в голубое мерцание, и правая кисть его вздрагивает.

Моноotonно, дремотно стучит дождь в мансардное окно. Стекло цветными разводами размывает мерцающую на противоположной стороне уличного провала вывеску кафе «Катманду».

Мы периодически спускаемся туда перекусить, устав дышать часто, как лошади, загнанные прыгающим ритмом строк.

Вновь автоответчик сообщил голосом Пи-кассо, что неделя на исходе, что пора Пи-левиному роман закончить и пора ему, Пи-кассо, начистить Пи-левиному рюшечку, и что он, Пи-кассо, ждать притомился. Не у одного Пи-левина процесс, и если ты со своим романистом сейчас же в «Катманду» не окажешься... То вести из Катманду взбудоражат три города как минимум, потому, сообщил автоответчик, что он, Пи-кассо, в «Катманду» уже есть, и разбил столик на равнобедренный треугольник, и – вы ведь меня слушаете? – ты, муза в квадрате, спускайтесь для поесть и поговорить, не нарываясь на повторное приглашение. Или я скажу вам, что будет дальше.

И мне уже не было скучно. Я возбужденнее поглаживала Пи-левина за ухом, голос Пи-кассо заводил,

и ухо Пи-левина твердело под моей рукой. И когда я нежно прикусила его подзатылочную, убегающую в ворот свитера складку, пальцы его быстрее забегали по клавишам: «Сколько раз тебе говорить – никогда не надо забегать вперёд...».

– Сколько раз тебе говорить – никогда не надо забегать вперёд, – считала вслух автоответчику.

И переспросила Пи-левина:

– Не ошибся, кому? Пи-кассо? Любочке?..

Дождь добарабанился до точки. Мы с Пи-левиным вошли в «Катманду». Пи-кассо приглашающе рукой помахал. На столике перед ним стояли фужеры с игристым красным, и нервно дымилась сигарета в пепельнице.

Присели, не здороваясь. Три фужера звякнули.

Пи-левин сказал Пи-кассо:

– Finite...

– Finite, – подтверждающе отозвался Пи-кассо.

Оба заговорили, агрессивно перебивая друг друга, что:

– ...доводить необходимо до напряжения невероятного...

– ...тугая ткань жизни, пока слово не брызнет бисером...

– ...пока краска не подсохнет, не свернётся струпом – ждать, ждать, чтобы скovyрнуть лишнее, смыть к чёрту растворителем до чистого света, проявить прозрачность...

- ...звук, потому что, в резонанс входя...
 - ...и тогда на грани деформации...
 - ...исправление искажения невозможно без горлового напряжения... нахлынет горлом – и всё, таки да...
- Что-то подсказало счастливую мысль, что если я смогу, надо сбежать сейчас и сделать...

Получилось! Запыхавшись, взлетела по узкой лестнице под крышу, утонула взглядом в замершей на точке строке, и пальцы заторопились по клавиатуре: «Вдруг у Любочки возникла счастливая мысль, что-то подсказало ей, что если она сможет встать и выбежать в коридор, всё произойдет... Наверное, похожие мысли пришли в голову и остальным».

Кисть моя дрогнула, как шесть суток вздрагивала кисть Пи-левина, я дописала последний, завершающий абзац рассказа шестидневной выдержки. Неожиданно потемнело. В темноте я так и записала: «Неожиданно погас свет, и, пока она на ощупь искала ручку, на неё сзади навалилось...».

В этот момент затрещал телефон, и голоса Пи-кассо и Пи-левина, переплетаясь, заорали с автоответчика:

- Горячее подают, спускайся, если ты там.

...В кафе меня не ждали. Три порции горячего покинута дымились. Официант сказал:

- Приятного аппетита. Молодые люди заплатили.

Я съела все три порции, допила игристое красное из всех бокалов. И наступило хорошо.

Спустя три года, поджидая Мсье в его кабинете, я дочитывала последний абзац рассказа «Вести из Катманду». Хозяин кабинета запаздывал.

«...А когда дверь, к которой Любочку прижала невидимая сила, всё же раскрылась...»

Торопливо вошёл Мсье, глянул на книгу с жёлтой стрелой на обложке, хмыкнув, заметил:

– Пи-левин – это некошерно!

Зазнобило – как теперь выкрутиться из этой странной истории?

– Это Москва... – начала я мысль...

– Это лев! – прервал Мсье, и рассказал анекдот про зайца, позвонившего льву и охреневшего от разобравшей храбрости в эпоху тотального разгула демократии.

Возле дивана – да по всему кабинету – стояли бутылки с разным и крепким, все слегка попробованные, оптимистически полные больше чем наполовину. И пошла я, оттягиваясь, отогреться.

Он сидел за столом, что-то быстро набирая на компьютере, рука его, не вздрагивая, плотно накрывала мышку...

Совсем другая рука, надёжная. Не как у Пи-кассо, не как у Пи-левина.

Мсье спросил, не оглядываясь:



– Из пяти бутылок уже попробовала?

– Сосчитал?

– По булькам, – рассмеялся.

– А знаешь, – сказала я, – «Вести из Катманду» в том же виде, в каком возникали на мансарде. Представляешь, ничего не изменено.

– Не примазывайся, – ответил, – к постмодернизму. – Ты типичная модернистка, у тебя не получится мир переделать. Только довообразить реальность! И вообще, положи с прибором на эти ваши «Вести»...

Взял «Жёлтую стрелу» двумя пальцами, открыл окно – и пальцы разжал.

Так закончилось парижское путешествие в невыдуманный рассказ «Вести из Катманду» появлением моего портрета на вернисаже в галерее «La Maison Rouge» и моим возвращением к Мсье с этим портретом под мышкой. Закрутившийся роман Пи-кассо с Пи-левиным обеспечил портрету успех, всё своё нежданное счастье вложил художник в мою улыбку. Написана я была безжалостно счастливой.

Мсье недолго разглядывал портрет.

– Убери с глаз долой, – сказал со странной интонацией.

– Куда?

– Маме подари, свинёнок.

Напрасно Мсье это сказал. Разобидевшись, я повесила портрет прямо над его письменным столом. Чтобы отвлекать и мешать. И у меня это получилось.

За окном Александер-хаоса, расплёскивая лужи, чувствовались машины, зонты, и казалось, что парижская грибница переползла сюда, поближе к набережной, почти под кинотеатр «Ударник». Я встала, подошла к окну, проверила.

Как ударило: так и есть! За окном Париж. Льёт дождь, на остановке стоит троллейбус. Напряглась и вспомнила вялую фразу Пи-левина: «Троллейбус уже тронулся, и теперь надо прыгать прямо в лужу».

Надо, значит, если по-мужски.

Когда доживёшь

Е. Г.

Он вспоминал – сухой цвет софоры шелестит под ногами так же, как сухой цвет акации, катальпы или каштана.

Из вагончика подвесной дороги море вдали синее, как небо. А внизу на пляже – никогда. Чёрное море зелёное, серое, бурое в жару от водорослей. Синее – только из вагончика канатной дороги.

Когда разговариваешь с Лёлей – становится прохладно, словно за щекой ментоловая лепёшка. И жалостливо становится, птичку жалко.

С Лёлей лучше не разговаривать, не видеть, как она ёжится, вздрагивает и в глаза не смотрит виноватым взглядом, а смотрит под ноги, и голос тихий.

Почти не слышно, что говорит. Но когда долго не видел, начинал вспоминать – шелестящий осыпавшийся цвет деревьев, синее море Отрады, в котором плавают, покачиваясь, подвесная дорога. Становилось одиноко, рука тянулась к валидолу в нагрудном кармашке.

Лёля. Узкая и зеленоглазая, с мальчишеской стрижкой, с маленькой Лялькой на руках.

Спросил, откуда взялась Лялька, услышал невероятное:

– Родилась.

Когда успела? Ведь не виделись всего-то ничего, три дождя и до первой сирени. Постеснялся спросить, чья, но Лёля поняла, виновато ответила:

– Только моя.

У Ляльки щёки толстые, ротик рыбий, уголками вниз. Грустная Ляля, копия Лёли, только рыженькая и с кудряшками.

Осторожно потрогал девочку. Замер, прикоснувшись к локтю матери.

Лёля смотрела в упор. Сказала, тревожась, и потому громко:

– Никогда.

И он вдруг заглодел. Попрощались, разошлись.

У Лёли была гордая спина, когда оглянулся. Она не оглянулась.

Сидел на бульваре, прикрыв глаза, чтобы не узнавать прохожих. Всё равно услышал:

– Григорий, привет!

Открыл глаза.

Дмитриенко начинался с живота, потом сразу усы и вопрос, как там с тиражом.

Махнул рукой, лень было разговаривать. Дмитриенко понял, ушёл без ответа.

С моря тянуло йодом.

Очнулся возле филармонии – о чём думаю? Думал о рыженькой рыбке Ляльке.

Повернул вправо, к «Детскому миру».

Вспомнил, когда Лёля просыпается, сначала просыпается рот, улыбкой. Потом узкие глаза взглядывают и убегают. Потом она говорит:

– Опоздала.

И только потом:

– Привет.

– Куда? – спрашивал Григорий.

– Что куда?

– Опоздала куда?

– А, – отвечала, – это я так, по привычке.

У них ничего общего не было, кроме просыпания. Засыпали молча, а то, что предшествовало засыпанию, было настолько негармонично, что вообще неясно, было ли.

Выходит, один раз получилось гармонично.

Григорий купил куклу. И маленькие ботинки, курносенькие. Стал вспоминать про гармонию и не вспомнил.

Когда оказался у Лёли с Лялькой, увидел: за столом сидел седой, похожий на него, Григория, только стар-

ше лет на сорок. Ну, двадцать. В таком возрасте непонятно, двадцать, сорок... Старик сидел.

Рассказывал его, Григория, историю. О том, как в горах перевернулись и уцелели, побились только слегка. Потом ещё что-то из жизни его, Григория, как из своей собственной.

Григорий возмутился. Попытался вступиться за свою жизнь – и замер, разглядывая старика. Что-то было не то. Не так.

Лёля руку на затылок старику положила, а ощущал её руку он, Григорий. Старик пил водку. Пьянел Григорий.

Григорий себе тоже налил.

Утром, когда завтракал, смотрел на пустое место за столом, и Лёля сказала:

– Тебе показалось.

– Что показалось?

– Всё, – строго сказала Лёля.

Заплакала Лялька. Лёля вышла. Вошёл старик, налил себе кипяточку. Удивлённо посмотрел на Григория:

– Ещё здесь?

Григорий тоже удивился. На старике были его, Григория, пиджачок и синий галстук такой же, в клеточку.

Григорий решительно поднялся, но старик предупредительно выставил ладонь:

– Ты, – сказал он, – ты расслабься. Ты не пытайся понять. Доживёшь – вспомнишь.

И ещё сказал что-то, чего Григорий осознать не сумел.

И вот прошло время.

Лялька пошла в школу. Григорий слёг с инфарктом. Страх у Григория не было. Потому что пиджак и синий галстук в клеточку всё ещё висели в шкафу. Потому что он помнил, как старик говорит:

– Доживёшь – вспомнишь, а сейчас расслабься.

Григорий расслабился, понимая, что всё ещё не дожил.

Когда пришла Лёля, спросил:

– Ты про старика скажешь?

Лёля не удивилась.

– А что говорить, что надо сказать тебе?

– Не понимаешь, – сказал Григорий – ну скажи, как его имя?

– Ох, – сказала Лёля, – глупо как. Зачем тебе быть глупым? То, как ты знаешь, правильно.

– Хорошо, – сказал Григорий, – давай распишемся, наконец.

– На какой конец? – хмыкнула Лёля. – Давай супчик похлебай.

– Я не увижу его больше?

– Хорошо, – сказала Лёля, – я передам.

Старик пришёл за полночь. Сел на Лёлин стул, ссутулился. Был он в белой рубахе, а ниже в чём – Григорий не видел. В такой же рубахе, бязевой, что на Григории. Молчал, потом сказал:

– Ты ведь не боишься. Чего хочешь?

Григорий не ответил. Старик сказал примирительно:

– Не суетись, не время.

Григорий замер. Без голоса сказал:

– Время придёт, подсучусь?

– Нет, – ответил старик, – посуетишься.

Утром Григорий доктора оповестил, что всё, пора по коням. Доктор согласно кивнул головой.

Через неделю Григорий с Лялькой и Лёлей спустился в Отраду на подвесной дороге, под вагончиком топырились листья и свечи каштанов. Море синело вдали внизу, сливаясь с небом, ветер тянул солёной горечью. Лялька вдруг сказала:

– Он умер только что. Дожил до ста.

– Девять дней не дожил до ста, – замирая, сказал Григорий.

Лёля положила руку на локоть Григория:

– Согласна.

– С чем? – спросила Ляля.

– С ним, – ответила Лёля. – Я решила сделать подарок папе в день рождения, выйти замуж. Ты как, одобрям?

– Одобрям, – ответила Ляля матери, – я одобрям. А ты?

И она уставилась на Григория узкими зелёными Лёлиными глазами.

Анатолий Контуш

На плечах гигантов

Е. Г.

Тут легко дышится.

Безоблачное небо над головой – высокое, но в то же время кажется, что можно дотронуться до него рукой.

Солнце, заливающее светом всё вокруг.

Земля далеко внизу, её почти не видно, но при этом всё время чувствуешь, что она есть.

Тут не идёшь, а скорее летишь, подхваченный какой-то весёлой силой, паришь над миром, видя самые далёкие его уголки, легко порхаешь среди чудесных, волшебных, невообразимых сооружений.

Что такого особенного в этих людях, стоя на плечах которых, испытываешь всё это? Чем они так отличаются от остальных?

Понятно, что не ростом, потому что они – гиганты в других, обычно недоступных нам, измерениях.

Великаны сотворённого, титаны созданного, колоссы сохранённого из века в век, исполины культуры.

Хранители знания, носители огня, атланты, которые держат небо.

Очутившись на их плечах, блаженствуешь, словно оказался на небесах.

Что есть культура? Как измерить её массу, площадь и объём? Какая нужна сила, чтобы удержать её на своих плечах? И в чём измерить эту силу – в ньютонах или, скорее, в шекспирах, толстых и леонардо?

Потом оказывается, что здесь дело не в силе.

Чем важнее груз, тем легче его нести.

Самый важный груз переносится в одиночку, наедине с самим собой.

Человеком, который один идёт по пустыне.

Один Голубовский.

Эталон.

Единица измерения.

Виктория Коритнянская

А кто такой Голубовский?

Евгению Михайловичу Голубовскому посвящается.
С днём рождения!

Жила-была в одной одесской квартире у самого Чёрного моря кошка, и звали её Кнопа. Кнопа была уже старой, но, видно, кошачий бог – Великий Кот, был к ней расположен, потому что на закате своей жизни она вдруг неожиданно-негаданно родила котят. Когда котята выросли немножко, трёх отдали, а одного – очень непоседливого и любопытного – хозяева оставили себе. Котёнка назвали Максик. Однажды, сидя вечером на балконе, он спросил у Кнопы:

– А кто такой Голубовский?

Дело в том, что с некоторых пор хозяйка часто говорила о Голубовском с хозяином, а ещё при этом она упоминала много непонятных слов: зелёная лампа, печать, альманах... Загадочная личность Голубовского и таинственность непонятных слов лишали любопытного

Максика душевного покоя, поэтому сейчас он решил во что бы то ни стало всё выяснить у мамы.

– Человек с птичьей фамилией, – нехотя ответила дремавшая Кнопа. Она надеялась, что, получив такой исчерпывающий ответ, сын отстанет, но тот продолжал:

– Это я знаю. А кто он?

– Он в Одессе самый главный...

– Мэр?

– Нет, не мэр.

– Губернатор?

– Нет! Он – колосс культурной жизни Одессы! – воскликнула любящая высокопарный слог Кнопа.

– Пшеничный?

– Вот дурачок! – захихикала она. – Колосс – это что-то важное и большое. Это – гигант...

«...мысли и отец русской демократии», – чуть не сказала она, но вовремя сдержалась.

Максик потрясённо молчал. Он и не думал, что человек с птичьей фамилией может достичь таких высот и положения.

– А зелёная лампа?

– О... Она похожа на маяк... Все писатели и поэты слетаются на её зелёный свет, как мотыльки и комарики...

– И Голубовский их ловит и ест? – ужаснулся Максик.

– Зачем? Он же не птица! Он их воспитывает и развивает, и учит... и печатает... – зевая, добавила Кнопа.



– А альманах?

– Альманах – его друг! – и, предваряя возможные вопросы сына, выпалила: – И Бабель, и Пушкин, и Жванецкий, и Жабо... Жабо... Тьфу! Квакающая фамилия какая-то... Все они – его друзья!

– Ну надо же... – только и смог сказать Максик.

Потом он заснул. Во сне он видел огромный маяк, на вершине которого восседал колосс Голубовский. Большим сачком он ловил летевших на свет маяка писателей и поэтов, а потом рассаживал их за парты и вместе с Бабелем, Пушкиным и Альманахом воспитывал, учил и печатал...

Ганна Костенко

Як я познайомилася з Євгеном Михайловичем Голубовським (спогад)

– Ты знаешь, что лишила нас девственности?

– ?

– Мы никогда до этого не публиковали украиноязычные тексты в нашем альманахе. Ты была первой. Сколько тебе тогда было лет?

– Дев'ятнадцять.

Євген Михайлович усміхнувся й налив нам кави. Інколи він згадує «Не дивись так...», перше україномовне оповідання, що було надруковане у часописі «Дерибасівська – Рішельєвська». Голубовський, між іншим, один з небагатьох у моєму оточенні, хто знає всю історію від початку до кінця, адже завдяки цьому тексту ми познайомилися.

Отже, мені дев'ятнадцять. За плечима Мала академія наук, нарада молодих літераторів у Коктебелі, за результатами якої мене, тоді ще вісімнадцятирічну одеситку, яка пише оповідання українською, швидкою програмою приймають до НСПУ. Сама процедура прийняття з її регіональним голосуванням, повірте, окрема історія. Зараз, звичайно, посміхаюся, згадуючи одного з літераторів, котрий, ображений такою несправедливістю, розчервонілий, знервований, несамо вито кричав: «Та я сорок років йшов до спілки, а вона, вона... Молоко на губах ще не обсохло!». Але я завжди зі вдячністю та любов'ю пам'ятатиму передусім людей, які мене тоді підтримали. Після прийому до НСПУ був іще міжнародний конкурс «Гранослов – 2005». Перемога й видана книга «Кольорові мої вітрила».

Здається, цього мало б вистачити, аби переконати принаймні саму себе, що я чогось варта і маю право називатися письменницею у свої вісімнадцять чи вже дев'ятнадцять років. Але моєму вічному ворогу, вічному сумніву, страху, так не здавалося. Він все не заспокоювався, облизував мої щоки, аби отруїти смородом невпевненості. Шепотів: «То все пройде, ти переростеш. Тобі ніколи не вистачить сил та сміливості стати справжньою письменницею, адже письменниками не народжуються, ними стають! Що ти можеш написати у свої вісімнадцять, ну, гаразд, вже дев'ятнадцять років? У тебе немає життєвого досвіду. Письменництво – щоденна кропітка робота, і на одному натхненні довго не протягнеш. Пам'ятаєш, як ти грала на роєлі?»

Пам'ятаєш, про що ти мріяла тоді? Другий концерт Рахманінова... гарна мрія... і де вона зараз? До речі, чому ти не стала піаністкою? Пам'ятаєш?».

Тоді я не знала імені того демона, покровителя інквізиторів. Вважала, що мушу себе перепрошити. Знадобилося багато часу, аби усвідомити: те, що працює для одних, для інших не працює зовсім.

«Якщо письменництво – складна робота, – думала я, – то має бути той, хто *навчить* лупати цю скалу, щоденно пріти над реченнями та безкінечно переписувати начисто тексти, аби все одно бути незадоволеним».

Так я почала шукати літературного гуру, котрий зуміє вказати шлях до літературної Шамбали. І я пірнула в ту ілюзію з головою.

Мій запит Всесвіт проковтнув, перетравив та повернув порадою звернутися до одного з регіональних літературних гуру. Вони зазвичай сидять у своїх кабінетах та дають поради початківцям. У таких гуру є в столі шухлядки, куди вони складають тексти молодих літераторів, котрих ніколи не читають, бо абсолютно переконані, що у вісімнадцять років неможливо написати щось путне. В цих шухлядках смерті рукописи ніколи не воскресали, вони так і лишалися помираючи у темряві, непрочитані, сумні, запилені.

Але людина, до якої я йшла за порадою, мала іншу звичку: вона читала (хоча б дві-три сторінки) і висловлювала все, що наболіло. Як я дізналася згодом, той гуру справді знав, *як саме*, але мова не лише про писанину. Я не буду називати його прізвище, Євген Ми-

хайлович зрозуміє, про кого тут йдеться, але для вас, друзі, скажу, що прізвище того письменника римува-лося з прізвищем одного критика, який ховав Берліоза (не композитора) з «удивительным лицом».

А ще зі мною пішла моя мама. Вона ніколи не була присутня на таких «зустрічах». Але для мене тоді було вкрай важливо, аби зі мною хтось пішов, хтось був поруч. Можливо, я щось інтуїтивно передчувала. Не знаю.

Була неймовірна спека. Я сідаю напроти гуру, мама десь позаду. Решітки на вікнах, але то, напевно, зайва деталь. Гуру починає читати мій текст уголос: *«Доц нікого не жалів. Нанизував пальцями і клав собі до рота. Смакував. Всіх. І мене. Воїна».*

– Це як? – питає. – У дощу немає пальців!

– То метафора... – виправдовуюся.

– Ясно... – буркнув у відповідь.

– *«...Я чув, як смерть гупала у вікно долонею, кричала, як змочувала язиком губи, поправляла від нетерпіння на собі мокру сукню, яка поприлипала до маленьких грудей...»* – гуру важко зітхає та добряче слинить палець, аби перегорнути сторінку.

Далі він читає мовчки, але дедалі частіше зітхає, наслинюючи палець. Йому було боляче, то факт. Мені було страшно, але нікуди вже не дінешся. Я дивилася на жовтуватий відбиток у нижньому правому куті аркушу й вже не пам'ятаю, про що думала, здається, що літературну Шамбалу мені таки ніколи не віднайти.

– «Відчини мене! Зруйнуй мене! – знову зачитав гуру. – *Я відчиняв усі твої кімнати, руйнував їх без жалю...*»

«Це кінець», – подумала я й була права.

– Все, – сказав гуру. – Досить.

Він зім'яв аркуші й кинув у смітник, що стояв біля його ніг. Не бажав більше тримати той бруд у руках, ніби текст просякнутий отрутою.

Повисла нетривка тиша. У нас з мамою пересохло в горлі. Наші погляди поприміли до папірців, що безпомічно стирчали у смітнику, який, припускаю, багато чого перетравив за своє життя. Точніше, багато кого.

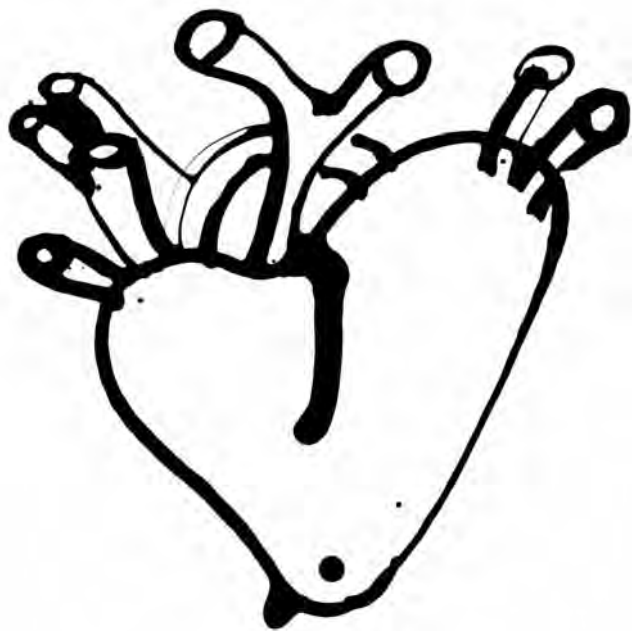
– Можете йти, – тихо сказав гуру. Він вже читав якусь іншу книгу, либонь, власну.

– Идём, Аннушка, – сказала мама.

І ми пішли.

Заради справедливості додаю, що моя мама ніколи в житті не називала мене «Аннушкой». Напевно, в той момент вона була готова розлити дві пляшки олії десь поблизу колій та навіть сісти за кермо славнозвісного трамваю. Але то, певна річ, жарт.

«До чого тут Голубовський?» – питаєте ви. І матимете рацію. Я відповім: саме в той момент, коли я думала, що моя письменницька доля догорає у тому смітнику, в моєму житті з'явився Євген Михайлович Голубовський. З'явилася надія. З'явився Друг. Не знаю, яка сила штовхнула мене піти до Голубовського (знову-таки за порадою). Я принесла той самий текст і, чесно кажучи, ні на що вже не сподівалася.



Можливо, мені навіть було байдуже. Хоча ні, байдуже мені точно не було. Пам'ятаю, як автоматично шукала очима смітник. Але він так і не знадобився.

– Ты знаешь, что лишила нас девственности?

– ?

– Мы никогда до этого не публиковали украиноязычные тексты в нашем альманахе. Ты была первой. Сколько тебе тогда было лет?

– Дев'ятнадцять.

Євген Михайлович усміхнувся. Інколи він згадує цю історію, бо колись працював з тим «гуру» в газеті. Я дізналася, що за часів своєї радянської молодості та своїх можливостей той критик пропонував молодим поеткам свою підтримку, та якщо поетки відмовлялися, на них чекав смітник, у широкому розумінні того слова. Мені ще пощастило. Звичайно, я довго намагалася осягнути, що насправді трапилося тоді в тому кабінеті. Мені було боляче. Дуже. Навіть мій внутрішній інквізитор піджав хвоста. Але якби не було того ляпасу, я б не познайомилася з Голубовським, не почула б його слів у першу ж зустріч: «Вам *надо* писать, Аня. А ещё у вас красивый украинский».

І я почала писати знову. Тих слів вистачило, аби щось воскресити в мені. Тепер я точно знаю, що словом можна не лише вбити та знищити міста, але й надати сил, зігріти та запалити надію. Можливо, справжній гуру не той, хто вчить, як *треба* писати, жити, думати, діяти тощо, а той, хто бачить спроможність кожної

людини рухатися до власної Шамбали. Ми маємо знайти її, передусім, у собі. І той шлях важливіший за мету, результат і навіть успіх.

На цьому, напевно, завершуватиму свою історію. «Що було далі?» – питаєте ви. Оповідання «Не дивись так...» увійшло до циклу «Медуза у хмарах», за який я отримала міжнародну молодіжну літературну україно-німецьку премію імені Олеся Гончара. Воно було надруковано в альманахах «Дерибасівська – Рішельєвська» та «Київська Русь», де головним редактором був Дмитро Стус. Далі писався роман «Те, що позбавляє сну», писалися «Цурки-Гілки», пишеться...

Зараз ми п'ємо каву з Євгеном Михайловичем, і мені важливо почути його думку щодо нового тексту. Ми говоримо також про літературні новинки, живопис та музику. Ми сміємося.

Але час додому. Вічно я кудись поспішаю. Євген Михайлович проводить мене до дверей та раптом каже:

– Аня, начни уже, нарешті, верить в себя.
Я його почула. І повірила.

Ольга Ладохина

Загадки одесского Книжника

Я очень люблю смотреть на уходящие поезда. В детстве казалось, что единственным средством передвижения на дальние расстояния был состав с вагонами, которые выбивали содержательный ритм. Если успевала прочесть маршрут, то мечтала, искала на карте, а больше расспрашивала папу, который, не сомневаюсь, знал всё на свете. Мы любили с ним в воскресный день выехать на велосипедах на окраину кубанской станицы, к железнодорожному полотну, чтобы встречать и провожать поезда и говорить обо всём.

Когда я студенткой приезжала домой, а папа уже не мог преодолевать большие расстояния, он садился в кресло и с интересом слушал мои истории, а мне всё казалось, что мы у того железнодорожного полотна, где движение и жизнь, и времени нет, оно не властно над нами. А потом, после ухода папы, был страшный вакуум, мне не хватало наших философских разговоров,

которые давали мне разбег, импульс, папины беседы со мной, оказалось, были нужны мне как воздух.

Долгие годы не покидало ощущение пустоты и провала, тоска по собеседнику, который умеет слушать. Когда я оказалась в Одессе, в гостях у Валентины Степановны и Евгения Михайловича Голубовских, я поймала то состояние, которого не испытывала уже много лет: со мной был собеседник, умеющий слушать, я сразу же вспомнила мой велосипед. Сколько бы я ни преодолевала на нём расстояние к железнодорожным путям, душевные взлёты не происходили давно, а в Одессе всё случилось. В доме Евгения Михайловича на Большой Арнаутской я попала в мир, которого мне не хватало всё это время. Атмосфера дома была настолько родной, что я провалилась в кресло и рассматривала стопки книг. Так в детстве я любила разглядывать корешки книг на столе у папы.

Из Одессы я всегда привожу от Евгения Михайловича одесские тексты: они мою жизнь в Москве наполняют дыханием побережья Аркадии, ритмами Привоза, воспоминаниями о наших встречах. Они – мой самоучитель в постижении одесского текста, а Евгений Михайлович – мой наставник. Каждое утро открываю страничку на Фейсбуке, понимая, что первая новость будет из Одессы. Евгений Михайлович даёт импульс для размышления, без экивоков обо всём. По совести и честно. Его книга «Глядя с Большой Арнаутской» – моя энциклопедия художников Одессы и книжных людей, это пособие, как мастерски писать тексты, со-



держательно и доступно, секрет книги: в ней столько поэтических цитат, вкраплений из прозы, поразительная осведомлённость и начитанность книжника. Читать и перечитывать её – сладостное удовольствие. С тех пор как на Фейсбуке появилась страничка Евгения Михайловича с историями дней рождения и дней памяти, живу по этому календарю, он помогает сложить пазлы картины художественного мира.

Много лет у Голубовского роман с литературой. Книги «Венок Ахматовой» и «Венок Пастернаку» – давно библиографическая редкость, в них собраны не только стихи, но и дружеская переписка Евгения Михайловича с замечательными авторами, у которых творческие и душевные пересечения с Одессой. Альманах «Дерибасовская – Ришельевская» получаю каждый раз из рук Евгения Михайловича, это ещё одно чудо одесского текста – делюсь с друзьями историей одесской жизни, и она становится понятнее и ближе.

Замечаю, что из всех городов, в которых я бываю, я не привожу столько книг, как из одной Одессы. Это город читателей и почитателей русской литературы, и один из самых загадочных книжников для меня – Евгений Михайлович. Он хвалит книги, статьи не чересчур восторженно, но от чистого сердца. Проникаешься и начинаешь понимать то, что по неосмотрительности пропустил. Но никакого упрёка, ни намёка на несостоятельность филологического толмача не чувствуешь, продолжаешь исследовать. Момент истины, здесь разгадка одесского Книжника:

по-донкихотски рыцарское служение словесности, поразительная глубина, аналитическое понимание и чуткость, по-одесски согревающая и пронзительная – нахлынет, как зелёная волна, и оживаешь от манеры общения, в которой особенная нежность, а ещё и живой настоящий русский язык.

Теперь я часто бываю в подмосковном писательском Переделкине, там тоже ищу одесские следы. Прохожу мимо дачи Валентина Катаева, спускаюсь к железнодорожному полотну – и снова дежавю из детства. Только провожаю уже не просто поезда, а те, что уходят на юг. Там, в приморском городе, на Большой Арнаутской, произошло то, что повлияло на стиль и тон моих рассказов об Одессе и одесситах. Встречи с Евгением Михайловичем судьбоносны: ранее безответные вопросы постепенно находят ответы, проявляются имена новых авторов, сумерки моего письма сменяются озарением.

Поезд с белой табличкой «Одесса»
Пробегает, шумя, мимо нас.
Пыль за ним подымается душно.
Стонут рельсы, от счастья звеня.
И глядят ему вслед равнодушно
Все прохожие, кроме меня.

Анна Михалевская

Под парусами или без

Она разжигает огонь первой и ждёт других. Пламя стихает, угли наливаются алым, и она присыпает их золой – сохранить тепло, сберечь. Её хитоном играет южный ветер – ночь здесь не приносит прохлады, но она чувствует и сырой затхлый сквозняк, от которого ломит даже её божественные кости.

Гестия опускается на траву, сидит, прислонившись к маленькой софоре. Она смотрит на оперный, переводит взгляд на тлеющие угли. Те меркнут, теряя силу. Гестия злится – ей нравится театр и не нравится сквозняк. Но что она может сделать? Забытая богиня в забывшемся городе.

Через дорогу, на открытой террасе ресторана гуляют свадьбу. Ряженный в официантку Дионис всё подливает жениху вина и дурмана, тот хихикает и щипает официантку за выступающие места. Знал бы он, за что именно хватается... Из всей семьи Диониса до сих пор здесь помнят – бутылки с его мистериями, дорогие и дешёвые, продаются

на каждом углу. Не зря племянничек так рвался на Олимп. Способный мальчик.

Оперный театр ныряет в темноту, будто проваливается в Тартар. По брусчатке стучат подковы и колёса – едет белая карета. На козлах – скучающий кучер во фраке, на скамьях – пассажиры. Они громко говорят и натужно улыбаются, смотрясь в телефоны. Гестия – продвинутый бог, она знает, что такое селфи: Нарцисс всё по полочкам разложил, не отрываясь от своего отражения в озере.

Вслед за канувшим в ночь оперным, обрамляя его воздушный силуэт, летит голос уличного музыканта, хриплый от усталости голос. Парень перебирает струны бандуры и повторяет давно заученные слова, будто первый раз признание делает – обезоруживающе искренне. Люди замыкают его в круг, не спеша расходиться. Гестия замечает, что меж углями вспыхивают огоньки. Значит, тот круг согрет – не летней жарой, а её теплом: очага и дома. Когда-то огонь Гестии горел здесь за каждой дверью. Сейчас... Эх, думает она совсем не по-древнегречески, чтоб вы все были здоровы...

Размашисто идёт по Ланжероновской неаполитанец Джузеппе. Его камзол и ботфорты не смущают прохожих. Какие-то сто лет назад в этот день приходилось прятаться. Сегодня о них забыли, боги и герои слились с толпой. Подумаешь, бледнокожая женщина в длинном платье сидит на лужайке... Или ряженный солдат возвращается с фотосессии.

Завидев её, Джузеппе приподнимает шляпу и, улыбаясь, – уголки губ. С такой улыбкой не проигрывают, никогда! У Гестии перехватывает дыхание – если б не обет целомудрия... Хотя и знает: у Джузеппе уже есть богиня. И что бы ни думала её родня с Олимпа, этот город он преподнёс ей, Екатерине. Не потому что выпрашивал жертвой милость, а потому что любил.

Джузеппе не спешит подсаживаться к тлеющим углям, он мерит лужайку беспокойными шагами, осматривается, недовольно хмыкает. В недрах города под его ногами лежит ресторация Отона, ещё ниже – камни дома Григория Волконского, первого построенного в Одессе. А под ними – обломки хрустальных бокалов, бутылочные осколки, пятак с вензелем императрицы и ржавый кинжал. В последний день метагейтниона, месяца Аполлона, а если короче и понятнее – 22 августа, Джузеппе, а если понятнее и длиннее – вице-адмирал Иосиф де Рибас, и его друг, генерал-поручик Григорий Волконский, отпраздновали рождение города. Гестия хмурится, пытаясь вспомнить, был ли там Дионис. Нет, наверное, нет. Ведь всего одна бутылка разбита. Тот по мелочам не разменивается.

Вслед за Джузеппе она оглядывается по сторонам. Снова этот сквозняк! Де Волан теперь не появляется на встречах – сразу хватает сердце. Пару раз попробовал, пришлось вызвать Асклепия вместо скорой помощи. Тот де Волану объяснил, так, мол, и так, оживлять не буду, а то от Аида снова влетит, и вообще – какое в твоём посмертном возрасте сердце? Но Франц всё

равно переживал. Витрувий свидетель, он строил этот город на совесть: из соляного центра ветвились улицы и площади, защищённые от дурных веяний валами и любовью. Радоваться и жить! Де Волан поднимал голову, и его взгляд спотыкался о холодные стеклянные башни. И Джузеппе смотрит сейчас туда же. А Гестия старается не смотреть. Сквозняки ведь оттуда. Башни вгрызаются в мягкую глину и ракушняк, продавливают грунт и саму суть города.

Незамеченные, они собираются у тлеющих углей. Деметра с поджатыми губами, в пшеничных волосах рдеют маки, расстроенная Персефона бредёт следом, перебирает гранатовые бусы. Через пару месяцев ей возвращаться в Аид, и мать не отпускает дочь ни на миг. Было дело, Персефона всходила на небо, принимая облик созвездия Девы, и Деметра успокоилась – куда ни пойдёшь, дочка на виду. Так похоже на одесских мам! Но Персефона отказалась от небесных восхождений, жалуется, что вай-фай там не берёт, ни поговорить с Аидушкой, ни сообщение отправить. Ты ж богиня, сердится Деметра, вон, Гермеса пошли, но Персефона упрямится – ей через вай-фай удобнее.

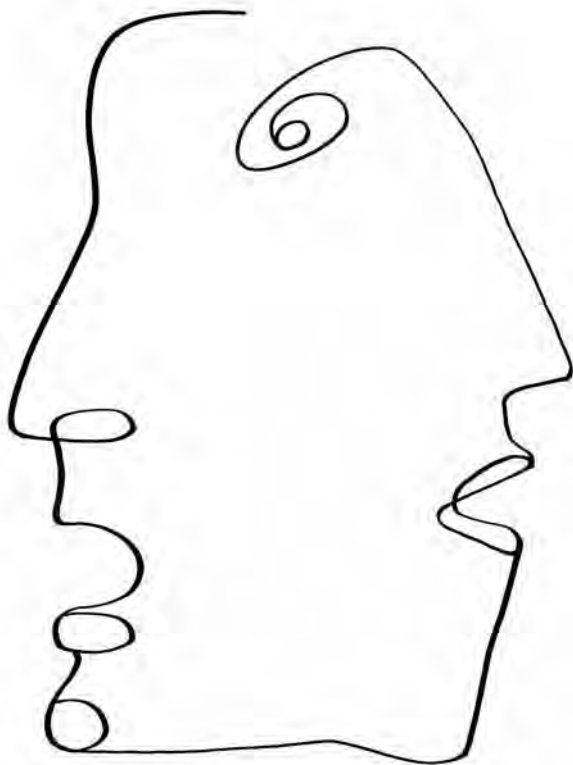
Боги и люди обмениваются негромкими приветствиями, и Гестии кажется, в этот раз огонь разгорается чуть больше. Возвращается домой, в Одессу, француз де Ришелье – не успев это сделать при жизни, теперь он не пропускает встреч. Приходит заранее, смотрит на порт, прислонив бумагу к своему памятнику, что-то пишет, скрипит пером. Перечёркивает, снова пишет.

До хрипоты потом спорит с Воронцовым и Маразли. Они ещё верят. И не хотят сдаваться.

На лужайке Театральной площади не протолкнуться, но их по-прежнему не видят. Люди интуитивно сворачивают, обходя место встречи богов. И только жмурятся, когда в глаза попадает отблеск щита Ахилла. Последним появляется Одиссей – как всегда, задержался в пути. Но час – это всё-таки не десять лет. Наверное, снова выпрашивал Тиресия на Жеваховой горе. Будто тот может предсказать ещё не решённое.

В темноте белеют лица – подсвеченные лучиной восковые маски. С каждым годом воск истончается, оплывает. И богам назначен свой срок. «Что они ищут здесь?» – который раз спрашивает себя Гестия. Зачем им это просоленное ветрами перепутье, на котором ничто не задерживается – ни дома, ни люди, ни память? В их распоряжении Олимп и весь подлунный мир. Гестия бросает взгляд на раскрасневшуюся Персефону – да и в том же Аиде можно прижиться. Но вот странная штука, они не хотят уходить отсюда. Одиссей говорит, что когда тебя долго нет дома, домом становится дорога. Сначала хочешь вернуться к стенам. Потом к людям. Потом к себе. А потом понимаешь, что не можешь оставаться на месте. Ты должен идти вперёд – под парусами или без – идти во что бы то ни стало.

Здесь могла бы быть пустыня. Но пришли люди и вывернули эту землю наизнанку – вынули из неё древние ракушки, построили из них дома, а пустоты заполнили своими мечтами и победами, своей верой,



 R. K. A. m.

своими знаниями, своей щедростью и любовью. Таков был фундамент Одессы. И при всём их испорченном характере олимпийцам нравилось это, и они часто навещались в город. Но что-то нарушилось в его подземных лакунах: вместе с первой забитой сваей стеклянной башни туда вошло безразличие и жестокость, жадность и фальшь, забвение и война. Нет, они тоже не безгрешны, но бурить Олимп пока не решились. Есть вещи, которые даже боги не повернут вспять...

Они говорят и говорят. Голоса звенят над площадью, задавая ритм скорому рассвету. И будто предвкусная появившаяся солнца, из кучки тлеющих углей само собой разгорается пламя.

Единственный прохожий – босой мужчина в грязной рваной майке и мятых штанах – застывает с открытым ртом.

– Ёкарный бабай! – обводит мутным взглядом всю честную компанию, чешет кудлатую шевелюру и вдруг трезвеет. – И где вас носило, господа боги?! Тут столько работы!

Дионис заходится не то в притворном кашле, не то в смехе.

Не спуская с них глаз, мужчина пятится, опускается на ступеньки ЗАГСа. А они, пряча друг от друга улыбки, разбирают угольки. За час до рассвета боги и герои навещаются в гости к тем, кто ещё слышит и видит. Кто помнит.

Каждый год она приходит в один и тот же дом – туда, где творится миф Одессы. Босиком по улицам –

как простая смертная, потому что идёт просить. От Соборной площади к Тираспольской, от Спасо-Преображенского собора к Свято-Успенскому, вниз по Большой Арнаутской, минуя спящий двор и консьержа, отворяя незапертые двери. Её ждут. В коридоре пахнет книгами и историями, рассказанными на тысячи разных голосов. Полы помнят тысячи разных поступей – уверенных и шаркающих, стремительных и застенчивых, знающих себе цену и пришедших её узнать. Он сидит в обитом бархатом кресле, сросшись с ним за долгие годы, как срастаются со своим настоящим местом те, кто находит его. Пронзительный взгляд из глубины кресла, тёплая рука на плече.

– Рад видеть, Гестия! Хочешь кофе?

Она не отказывается. Здравоваясь, обводит взглядом молчаливые портреты, кладёт уголёк на менору. Усаживается на старинный диван у старинного стола. Здесь знают толк в прошлом – не только в вещах, но и в людях. Они ведут неспешную беседу, заставляя память пульсировать забытыми и вновь возрождёнными судьбами, характерами, свершениями – несметным богатством, которое всё ещё хранится в подземных лакунах Одессы. Иначе города было не выстроить – ведь для этого недостаточно камня и сметы. И всё, что нужно сейчас, – вытащить память на божий свет, как когда-то вытащили ракушняк. И заложить из этих кирпичиков новый фундамент.

Гестия уходит, когда хозяин дома засыпает, сидя в кресле. Она вдыхает долгожданную прохладу утра.

Чутко прислушивается к ощущениям – сквозняка нет.
Удовлетворённо кивает и ступает в солнечный луч.
В голове вертятся странные строки. Надо будет потом
спросить кентавра Хирона, что они значат...

Как много самообладания
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования.*

* Анатолий Фиолетов. «О лошадях». 1916 г.

Елена Палашек

Вальс свободной блажи

Кто создал всё, тот сотворил и части –
И после выбрал лучшую из них,
Чтоб здесь явить нам чудо дел своих,
Достойное его высокой власти...

Микеланджело Буонарроти

Сон

Луна смогла очиститься от ила
залётной тучи и решила вдруг
лозе признаться, как она любила
небесный свод:
– Ах, мой костлявый друг,
ты без стены ничто, как я без неба,
хоть небо – это сгусток пустоты
открывший мне фосфен, эффект плацебо,
условность ощущенья высоты.
А на стене, всё проще и понятней –

цепляешься и вверх ползёшь, ползёшь...
Быть брошью в пустоте куда занятней,
изображая дорогую брошь
на белом, сером или чёрном платье:
их надевают утро, вечер, ночь.
Но если ветер тучи разлохматит,
я спрятаться порой за них не прочь,
чтоб не смотреть на тех, кто строит стены
до неба, а за ними пьют вино.
Я ненавижу их так откровенно,
что хочется отнять их разум. Но
рассматривая Питер, Львов и Лейден,
стихи на стенах, я прощаю всех.
Представь стихи на небе!
Тот бессмертен,
кому важней сомненья, чем успех.
Ответь мне, почему назвали люди
солнцестоянием свой самый длинный день.
Считаю это просто словоблудьем,
а словоблудье мучит, как мигрень.
Тогда уместно самый день короткий
назвать луностоянием! Увы,
весь этот мир из парадоксов соткан,
но без меня он как без головы.

* * *

Луна всю ночь болтала и болтала,
а я спала и, слушая её,

задумалась, что целой жизни мало,
чтоб объяснить призвание своё.

Рассказ

Июнь косил под май.
Хотелось чаще
спокойствия на море и в душе.
Чтоб выгладеть, как сон, ненастоящим,
он запер солнце в чёрном гараже –
на небе тучи сбились плотно-плотно,
предполагая вскорости жару,
они скрывали солнце неохотно,
бросая вниз дожди, как мишуру.

* * *

Я рифмовать любовь уже привыкла,
какой бы странной, сука, ни была:
напевной, беспредельной, многоликой,
наряженной, раздетой догола,
неразделённой, жертвенной и блядской,
смиренной, безнадежной.
Ну и пусть!
Мне не любить сложнее, чем влюбиться.
Вода-влюблённость кап на камень-грусть,
и он со временем становится всё глаже
и легче. А в душе полно камней!

Влюблённость,
словно *вальс свободной блажи*,
кружить умеет классно нас.
Ой, вэй!

* * *

В него влюбилась я при первой встрече.
Он был женат и внешне... так себе.
Тонуть в его глазах мне стало легче,
чем в роскоши еврейской «голытьбе».
Рассматривая картуш на рубашке –
карман-значок, давала слабинку.
А кофе, остывая в чёрной чашке,
ждал, ну когда я палец окуну
и оближу.
Приём придурковатый,
но в сексуальности ему не отказать.
Жаль, собеседник был, увы, женатый,
а совесть у меня, увы, не блядь.

* * *

Я говорила много, слишком много,
что солнце – как натёртая латунь,
что я, изображая недотрогу,
в душе теплее даже, чем июнь.
Что лишь кажусь ему невозмутимой,
как на чужом веселье тамада.



Цитату из Цветаевой любимой
ввернула не случайно я тогда:
«Июнь. Июль. Часть соловьиной дрожи.
– И было что-то птичье в нас с тобой –
Когда – ночь соловьиную тревожа –
Мы обмирали – каждый над собой!»

* * *

Пожалуй, это всё, что не забыла
о первой встрече.
Мало?
Что ж, увы.
Ведь главное не то, что это было,
а то, что возраст с нами был на «вы».

* * *

Чудесно жить, про годы забывая.
Наш возраст – это дети и друзья,
и на дороге линия двойная,
которую нам пересечь нельзя.
Наш возраст – забегаловки и пабы,
и блеск в глазах, и слёзы на щеке,
ступеньки, двери, селфи, фотожабы,
разлука и рука в другой руке.
О возрасте мы думаем не чаще,
чем, например, о чём-нибудь другом,
чем больше он, тем день короче, слаще,
как мысли вслух: «А что же там потом?»

* * *

С годами романтичность не уходит,
но радует: становится мудрей,
она – излишек масла в бутерброде,
а все излишки с возрастом вредней.

* * *

Влюблённость – стимулятор виртуозный:
стал в Марбурге поэтом Пастернак
не от учёбы.

Я ж, как жук навозный,
любовь, как шар дерьма, качу.
Вот так,

живя всю жизнь по принципу агапэ,
вдруг понимаю, что таланта нет.

Накапайте хотя бы пару капель,
чтоб он сказал, что я таки поэт.

И вновь пишу стишки, рассказы, песни,
чтоб обо мне он думал иногда,

и в этот миг я с ним хоть малость вместе:
как черенок, к надежде привита.

Но, главное, я так люблю Одессу,
а для меня Одесса – это он.

Кому-то вальс – не ровня полонезу,
поскольку лишь в Огинского влюблён.

Кому-то менуэт не ровня вальсу,
кому-то лишь мазурка хороша.

Три четверти размер не для страдалцев,
а лишь для тех, о ком поёт душа.

Пусть кружат долго
вальс свободной блажи
и наши чувства даже наяву.
Моя влюблённость удивляет стажем
на каждом нашем новом рандеву.

* * *

В тот день, солнцестоянием распятый,
хотелось соблазнителя обнять.
Но... собеседник был, увы, женатый.
А совесть у меня, увы, не блядь.

Игорь Потоцкий

Евгению Голубовскому

Жизнь – разворот незримых крыл
И лунный свет над головою.
Мне кажется, что над тобою
Незримо этот стих проплыл.
Торжественно звучали в лад
Его возвышенные строчки,
Соединив в одну цепочку
Рассвет внезапный и закат.
И дальше музыка рвалась,
Катрена становясь строкою,
Легко нащупывая связь
Между Одессой и тобою.
И снова жизнь была добра,
Как в опере, клубились темы.
Вновь вышел ты из декабря
Стихом за зимние пределы...
Твои все сводятся пути,
А их в судьбе было немало,
Как в этом декабре, к *пяти*
Тем детским наивысшим баллам.

Сергей Рядченко

Атлант

Впервые увидел Евгения Голубовского и его чеширскую улыбку жарким летом 1970-го на Пушкинской в редакции газеты «Комсомольська іскра». Там было весело.

Это полвека тому.

Ну и как тут уложиться в сто, двести, да хоть в тысячу слов! Как передать тебе, дорогой читатель, мириады оттенков в мелодиях песен жизни, прозвучавших за эти столетия в наших с Евгением Михалычем встречах, случайных и неслучайных, наших беседах, под закуску и просто так, в наших с ним шутках, обращённых к друг другу, весёлых и печальных, с подтекстами и без; как? А Бог его знает...

Об известных вехах подвижничества Евгения Михайловича, порой большого оригинала, вы, друзья, если ещё не знаете, то узнаете и без меня. А я поделюсь тут с вами своим впечатлением о выдающемся инициаторе и деятеле одесской жизни Евгении Голубовском, слепленным у меня за эти годы из отдельных атомов



и молекул, из пылинок и паутинок во внушительный наконец мегалит. И что же там, из чего он?

Во-первых, это фундаментальная благожелательность, помноженная на остроту ума, которая (острота) и который (ум) природным образом сокрыты под доспехами стабильной неспешности и негромкости. Не полагаю скромность добродетелью, и потому прибегнем тут к слову *смирение*. Со смиренными упорством и трудолюбием ведёт Евгений Михалыч свою линию жизни в свет и в просветительство. Тяжелы ему те латы или как – ведомо лишь Творцу и Голубовскому.

А нам что с того? А нам с того радость, а нам восторг.

Не устаю, друзья, повторять, что Евгений Голубовский это – Атлант. На этом тщедушном с виду – и однако ж стожильном – человеке, на его плечах, покоится небосвод культуры нашей. Под «нашей» понимайте не только одесскую, а берите шире; так широко, как только получится...

На одной из недавних церемоний вручения достойных премий достойным людям во Всемирном клубе одесситов заговорили мы с Евгением Михалычем вскользь в кулуарах об извечном противлении всех недостойных всем достойным. И Голубовский с чеширской улыбкой процитировал Павла Тычину:

«Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають, –
Нам своє робить...»

Долгой тебе и здоровой жизни, Евгений Михалыч!
Благодарю за со-бытийность.
Делаем что должно, и будь что будет.
Хай щастить!

Анна Стреминская

Е.М. Голубовскому

* * *

На Большой Арнаутской сапожник сидел – дядя Сеня.
Поэт Игорь Павлов меня привёл в мастерскую
и сказал: «Дядя Сеня поэзию любит: Есенина,
Блока, Пушкина, но и нынешних милует все».

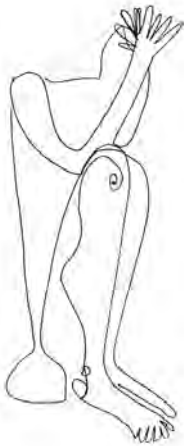
«Читай стихи! – сказал мне, кивнув, сапожник. –
Если понравится, я обувь чиню бесплатно!»
Я присела на стул и скинула босоножки.
Я ему читала стихи, что нравились, вероятно...

Я читала, а Сеня стучал потихоньку,
вбивая слова молотком в каблуки и подмётки.
«Читай ещё!» – он повторял монотонно
и закончил работу ловко и чётко.

«Ты читаешь стихи, как будто молишься, –
он мне сказал. –

Поэтесса – что с неё взять! – вынес вердикт сурово. –
Вот стихи настоящие: жизнь это лишь вокзал!» –
и прочитал стихотворение Кочеткова.

Мы уходили с Павловым, я цокала каблучками –
как будто мы побывали в лучшей из всех Одесс...
И казалось, что рядом шли, подбитые лишь словами,
ботинки поэтов, цокали каблучки поэтесс.



Ирина Финлерова

Джинн с джином

«Джинн живёт в лампе.
И лампа эта хороша собой.
И днём, и ночью
горит она.
Указывает путникам путь
Не лампа это горит,
но джинн.
И не горит джинн.
Сияет джинн».

Ростислав пришёл на лампу после суток.
Вздумалось записать в «тетрадь возмездия» новый
рецепт, а получился стих.

Коль вокруг одно говно,
может, я и есть и оно?

«Не оригинально», – подумал Ростислав. Евтушен-
ко уже всё сказал. А вот о подводной лодке и слыхом

не слыхивал. Он почесал залысину на лбу и расплылся в довольной улыбке.

«Всё-таки я его наказал».

Наказывать ему нравилось. Если ничего не можешь изменить ни в своей жизни, ни в своей стране – довольствуйся мелкой властью. Кричи «надень бахилы!» и делай витамин В внутримышечно. Пусть знают, суки, как бывает больно не уважать хорошего человека.

Особенно в белом халате.

Вчера отправил одно тело прокатиться на жёлтой субмарине. Пусть плывёт среди уток и облаков. Комбинация «аминазин плюс фуросемид» предназначалась для буйных и наглых. Недостаточно буйных, чтоб взяли в дурку, но достаточно наглых для того, чтоб вызывать злость. Злость у фельдшеров и врачей скорой была особенной. Гуманистической, сочувливой, раздающей себе бесконечные индульгенции. Не злость, а досада! Не злость, а справедливость!

Аминазин вырубал, пусть спит тело, а фуросемид – почки чистил. С утра, конечно, лужа, зато организму – красота!

Смена была не очень. Непонятно, зачем он вообще пришёл на это литературное сборище. Вспомнил вчерашнего бомжа Иннокентия. Хорошо поговорили, душевно, он Мандельштама любит. Ростислав сразу вспомнил большую лекционку. За два года работы на кафедре анатомии пять студенток

сумели доставить ему удовольствие. Плакали, как черти. Четверо – во время экзамена, пока он во-
дил лазером по банке с Катюшей и просил назвать короткую артерию, отходящую прямо от аорты. Одна – во время оргазма. Плакала тихо, как святая. Закрывала дверь, просила его снять кольцо, разде-
валась не спеша и без тени сомнения. Он разворачи-
вал её спиной, закрывал глаза и старался попа-
дать в ритм.

«Мне
Стало

Страшно
жизнь

отжить»

Старался говорить ровно, старался вколотить в неё простую истину, смешать с потом и горечью, втереть в молочно-юную кожу.

И с дерева,
как

лист,
отпря-ну-ть.

И – ничего не полюбить, и –

Безымянным камнем кануть.

Всё, кончил читать.

Пора домой, рубить свой дом на дрова топорным отчуждением. Убирать кошачий лоток. Мяться на несвежих простынях. Смотреть в решётку окна. За ним – несвобода, но хотя бы голова не болит.

Иннокентий приятный человек оказался. Стихи наизусть читал.

Зачем же он ножницами попытался проткнуть ногу Петровича?

Ростислав за фельдшера вступился.

Пока Петрович бомжа фиксировал и тупо повторял: «Охренел ты, батя, охренел», – Ростислав вколол подкожно кордиамин под лопатки. Эффекта ноль, но орлом не просто так прозвали.

Руки опустить невозможно.

Одну старушку в гиперкризе вернули. Две политравмы повезли в Еврейскую. Бывшая жена звонила десять раз. У неё заболел кот, ему нужно делать уколы, а она боится. С днём рождения не поздравила, а уколы коту – пожалуйста. Ну что ж он, изверг какой? Пошёл после смены уколы делать. Она сырников нажарила, разделась. Остался.

Выпустил воздух изо рта вместе с шипящим «сшшш», палец болит, пациент укусил. Он не церемонился, сразу в дурку. Взяли. Не из-за укусов,



он представился сыном Марии и приказал медсестре излечиться от косоглазия.

У неё не вышло, и она расстроилась.

Повела его в «голую ванную» около приёмной.

Потом Ростислав уехал. Ненавидел он почему-то эту ванную. Как будто чистилище.

Уже светало. Скорая остановилась на перекрёстке. Водитель Вадик бибибал. Ростислав грустно смотрел на входную дверь «Сильпо». Там продавалась нежность. 300 грамм в пластиковой коробочке, со щербатим, как луна, сельдереем и куриной грудкой.

Хороший же врач, с интуицией, ну как его занесло?

Неделю назад диагностировал инфаркт, прикинувшийся панкреатитом. В кардиологию брать не хотели, пришлось скандалить. Пинают этих пациентов, как шары в боулинге. Нет-нет, нам тяжёлых не надо, пусть в другом месте умирают. Только дурка в этом смысле по-человечески, если доходят уже, и некуда девать — берут. Не всегда за бесплатно, тут как родственники одеты, но всё же. Был у Ростислава и талант, да не в радость, он только на пациента посмотрит, особенно если тяжёлый, и уже знает, сколько тот протянет.

Жаль, что «Сильпо» закрыто.

Пришёл пирожок:

если человек козлина
ты полей его бензином
но не поджигай
терпи

Нет, ну всё-таки зачем он послушал хирурга? Пришёл литераторов послушать? Можно подумать, ему тут место найдётся.

В подвале не должно быть так светло, не должно пахнуть свежей краской, не должно быть столько моря на стенах. Выставили какого-то художника малолетнего, совсем они жизни не знают. Ростислав вытер нижнюю губу большим пальцем. Проверил, не осталось ли масляного следа, уже у входа в Клуб одесситов достал из кармана ветровки мятый бутерброд. Сыр подтаял и прилип к битку, помидоры размочили хлеб. Голодный был.

Съел.

Неуютно стало, когда пришла Цаца.

Цок-цок-цок каблуки, цок-цок-цок звонко расцеловала в щёки Ходулю.

Тонкая, спина прямая, титановая, одета во всё серое. Какую-то выставку с Цацей обсуждала, Цаца закатала рукава пиджака, на запястье – роза. Интересно, а знает ли она, что бывает с этими татуировками после смерти? На запястье ещё ничего, а вот на животе... Пришёл лысый вертлявый многословный. Говорил про союз писателей, про литературную газету, мораль. Всё это уместил в одно предложение. Знаки препинания ставил ушами, иногда – икал.

Ростислав машинально взглянул на часы: не ошибся ли временем?

Нет, на руке змеился синеватый фитнес-трекер, подсчитывал пульс и сделанные за день шаги. Значит, всё верно, 2020 год, Советский Союз своё отжил.

Дородная женщина с кроваво-рыбьим ртом затынула «ой не ходи, Грицю, не ходи до неё». Её друг снимал на камеру и всё время поправлял очки.

Мелкая и зеленоватая, как кузнечик, принесла свою новую книгу и пыталась её продать. Звала на литературный вечер, обещала шампанское. Кто-то рядом кисло отрыгнул. Все смеялись, кроме него. Разве кто-то шутил? Он точно на своё место сел? Может, у них тут обычаи? Они тут что – знакомы все? Наконец-то и Юрий Андреевич появился, хирург их, вместе пили, значит, ни душой, ни рожей кривить не будет. Подошёл, обрадовался. Сказал, что стихи свои принёс, читать будет.

Вошла птичка-невеличка, на шее – зоб, подмышкой – папка. Несколько стайных девиц втыкали в телефон. Грузно уселась ворчливая гусеница. Мёрзла, три кофты надела, шарф повязала, июль не заметила. Сердечная недостаточность, отметил про себя Ростислав, глядя на пальцы – барабанные палочки сидящего впереди бородача.

Вошёл маленький человек. Взобрался на сцену. Заговорил. Ростислав удивился. Взгляд ясный, внимательный, аж не по себе. Эфемерный какой-то человек, дымчатый. И со средой сливается, и цвет свой особенный имеет. Места занимает мало, а пространство собой заполонил. Все его взгляд ловят, все его слова ждут.

– Пожалуйста, – великодушно махнул рукой.

Началось.

Выходили по одному. Нудно и долго читали. Паузы расставляли не там, слова подбирали не те, любой бы так смог.

Вот что думал Ростислав.

Не, не смог бы.

От одной мысли «выйди на сцену, почитай, что накопилось за последние годы» стало дурно. Дурно – это когда пятидесятилетнему мужику под два метра ростом хочется закрыться в туалете и блевать, просто чтоб был повод не выходить.

Ворчливая читала плохо, но писала сильно. До костей пробрало. Красноротая певунья писала новомодные верлибры с надрывом и нарывом. Сама так сказала. Ростислав не понял, ничего не понял, но тому, как она прямо со сцены сказала «моя вагина – моя долина», подивился. Смелая. А ещё больше тому, что никто и бровью не повёл. Он привык к тому, что фельдшерам его много не надо: бабка в расстегнутом халате – и уже подогреты. А ему так просто неинтересно, но музыку любит, семь лет на скрипке играл, фальшь научился чувствовать, лучше бы не умел. Если хочется по-быстренькому, без разговоров – фальши будет ещё больше, чем когда приходишь ставить уколы коту бывшей жены. Люди постоянно фальшивят, чем дальше, чем ближе, не фальшивят, только когда кончают или кончаются. Ростислав не раз присутствовал при обоих состояниях.

Какая-то школьница читала стих про Одессу. Беззубый дед декламировал отнюдь не беззубый рассказ о сутенёре. Цаца писала искромётно, но как

будто всё время оправдывалась за свой талант. Ходуля писала сказки.

Ростиславу хотелось в туалет, но он не пошёл. Неудобно, сидят все, слушают.

А потом заслушался, забыл.

Не так уж важно, что они там читали и писали.

Один вообще писал о том, как правильно мыть жопу перед совокуплением с возлюбленным.

Важно было смотреть на их лица.

Что это были за лица!

Эту мелодию можно было бы сыграть на скрипке. Мелодию их тиков, морщин, запинок и нервных сглазываний, их страхов, их искренности.

Они раздевались и одевались, вставали и садились, молчали красноречиво и молчали безмолвно, а Ростислав сидел и думал, что его белый халат прилип к телу, как вторая кожа, и что, наверное, нет другого способа его снять, кроме как публично.

Наедине с собой невозможно раздеться догола, что бы там ни говорили.

Ощущение наготы появляется только в присутствии чужого взгляда.

Ростислав заслушался, забылся.

А потом все заплодировали.

На сцене остался только маленький человек.

В подвале смеркалось. Отчитали, как отпели. Отпустили, выпустили.

Так странно тень падала от этой странной зелёной лампы.

Вдруг сделался маленький человек большим.

Так тень странно падала, что вдруг сделался он большим и серьёзным.

Таким серьёзным, что улыбался, отрицал серьёзность как класс, но принимал как игру.

Он сидел на кресле, у него чуть дрожал мизинец, и голос иногда дрожал, но в нём чувствовалась сила, а главное – преданность самому себе.

И вдруг подумалось Ростиславу: «Мне есть что рассказать».

В своей любви к структурированию жизни, к фиксации рутины, к раскладыванию по полочкам средств для дезинфекции и для существования он никогда не выходил из дома без ручки и блокнота.

Вдруг удачная мысль или надо посчитать скорость клубочковой фильтрации.

Нацарапал на обложке: «блокнот для стихотворений». «Тетрадь возмездия» зачеркнул.

Был человеком одного интереса, одного дела.

Устал наказывать.

Захотелось сладкого чаю, захотелось жить не сутки через трое, говорить не только о болезнях.

Как тут быть?

Подошёл. Поблагодарил маленького человека, тот смотрел удивлённо, он вообще смотрел на мир удивлённо, несмотря на сетку морщин, разрезающих лицо на отдельные острова.

Ростислав умел читать морщины, как карту. Перед ним – новый континент.



Как так вышло, что он совсем разучился удивляться? Представиться постеснялся, а его приятель хирург неискренне обменивался шутками с лысым.

– Ну, пора мне, спасибо, – Ростислав неуклюже попятился к выходу.

– Вы прозаик или поэт? Или сочувствующий? – он насмешливо склонил голову чуть набок.

Ростислав почувствовал, что его ладони вспотели. Чёртова парасимпатика.

– Пришлите почитать, – маленький человек осторожно протиснулся сквозь шампанское и толпу и направился к Цаце и Ходуле.

Ростислав только сейчас заметил, что ходит он с помощью палки.

«Джинн живёт в лампе.
И лампа эта хороша собой.
И днём, и ночью горит она,
Указывает уставшим путникам дорогу.
Не лампа это горит,
но джинн.
И не горит джинн, сияет джинн».

Юлия Цымбал

Евгению Голубовскому

*

Вы и не знаете, какой вы дорогой!
Приносят вам шикарные букеты.
И ничего, что седы головой,
Вам пожелаем многая мы лета.

*

Пусть на улице сильный ветер,
Пробирает до нитки мороз,
Но наш клуб и уютен, и тесен,
Ведь у нас это с вами всерьёз.
Здесь мелькают знакомые лица
И уходят заботы, как дым,
Вам желаем тусить и клубиться,
Оставаться всегда молодым!

Эвелина Шац

По ту сторону времени

за тайной мантры утопия живёт покоя
там дорогие призраки молчат
и отвечают пустотой
на наши слёзы
и одиноту
и страхи
но пустота не пустота
она насыщена и тайной
и плотностью неизмеримой
и эта тайна как дамоклов меч
под ним
и мужество
и воображенье
любовное соитие
и криминальное либидо
под ним
мир дышит фатализмом
и надеждой
безумием абсурда

и мудростью томленья мысли
под ним
природа и архитектура смыслов
и соблазна смертельное таинство



Алёна Яворская

Женя

В августе 1984 мне дважды повезло: меня приняли на работу в Одесский (тогда ещё государственный) литературный музей и я попала в сектор двадцатых годов.

Официальное его название было длиннее – «сектор литературы 1920–1940-х годов», но так этот сектор никогда не называли, и был он сектором двадцатых годов, а сотрудники его, соответственно, двадцатниками.

В августе-сентябре все старые двадцатники – Марина Лошак, Оля Попроецкая, Таня Липтуга – отдыхали после открытия музея, заведующая сектором Наташа Городецкая была в декрете, а единственный и главный мужчина сектора – Боря Владимирский – и вовсе уволился.

Два месяца жизнь была тихой и спокойной. Но потом начали возвращаться из отпусков девушки, и жизнь забила ключом.

Приходили гости – замечательные интересные люди. Кроме обаяния молодых и красивых девушек

их привлекали архивы, которые в те годы казались неисчерпаемыми – на столах барышень лежали в ожидании описания и сдачи в фонды фотографии Ильи Ильфа, рукописи ранних стихов Семёна Кирсанова, Валентина Катаева, уникальные книги.

И расходились из сектора если не далеко за полночь, то близко к этому.

Звучал бархатный голос Юрия Михайлика, который читал стихи – свои и Бродского, строго отчитывал за ошибки в экспозиции Сергей Зенонович Лущик, приходил с рассказами о «раньше временах» и одесскими анекдотами Саша Розенбойм, целовал ручки дамам Тарас Максимюк, забегали коллекционеры Толя Дроздовский, Лёня Нейман, Алик Клевицкий – посмотреть на наши экспонаты, показать свои находки.

В этом калейдоскопе лиц, рукописей, лёгкого флирта, неизменного кофе для гостей однажды появился невысокий человек с пышной шевелюрой. Это был Евгений Михайлович Голубовский. Невысокий, с негромким голосом и обаятельной улыбкой. Журналист «Вечерней Одессы» – в те годы это была лучшая, самая живая и весёлая газета Одессы.

Потом Марина Лошак подробно рассказала мне про Евгения Михайловича – о его увлечении авангардной живописью, о том, как его исключали из политеха, о поездке в Москву и встрече с Ильёй Эренбургом, о письме Эренбурга. Тогда, до перестройки, эта история казалась невероятной, фантастической.

И такими же невероятными были и его рассказы о встречах с писателями, поэтами, художниками, о книгах из его коллекции – изданиях начала века и двадцатых годов. Футуристы, имажинисты, вычурно звучащие названия сборников: «Пощёчина общественному вкусу», «Громокипящий кубок». Евгений Михайлович щедро делился с нами – далеко не все коллекционеры, рассказывающие о своих сокровищах, соглашались дать их на месяц-другой на выставку.

Постепенно это знакомство перерастало в дружбу, и называла я нашего гостя уже не Евгений Михайлович, а Женя, а затем «пустое *вы* сердечным *ты*» стало не обмолвкой, а привычным обращением.

Женя открыл мне ещё один мир, о котором я не знала, – мир одесских художников. Именно он привёл меня в мастерскую Иосифа Островского, которого называл Осиком. Прошло больше тридцати лет, а я помню залитую солнцем мастерскую, скорбные лица еврейских стариков в голубой дымке и неожиданно лукавую улыбку козы. Мир волшебства, туманной легенды.

А потом был мир плутовской, озорной сказки в мастерской Юрия Коваленко – он отобрал работы для большой выставки в Германии и позвал Голубовского посмотреть. Каким-то чудом до этого Женя оказался в музее и взял меня с собой. Сельский городок, где сверкают купола церквей и гуляют козы, где идёт дождь из рыб, а груши больше людей. И обжигающие искры с картины «Смалят кабана» долетают сквозь

годы, напоминая о первой встрече с озорным художником, похожим на пополневшего «Пана» Врубеля.

Не помню, что было раньше – я попала в гости к Голубовскому или познакомилась с Вале́й, его женой. Вале́й она стала для меня сразу и навсегда. Не много людей такого обаяния, ироничности, удивительной лёгкости я встречала. Аристократичная, стильная – эти слова слишком просты для описания Вали. Светлая – наверное, это самое удачное определение. Валя читала у нас в музее лекции об искусстве – точнее, не лекции это были, а беседы. Посещение их было не обязательным, но даже зрители наши шли на всевозможные ухищрения и чуть ли не должностные преступления, чтобы хоть полчаса послушать Валу.

Квартира Голубовских на площади Конституции, возле редакции «Вечёрки», была в стандартной хрущёвке. Убогость этих зданий общеизвестна – низкие потолки, не всегда разумная планировка. Но у Голубовских потолки словно раздвигались – все стены были увешаны картинами одесских художников, а книги занимали всё оставшееся место, явно главенствуя в доме и выживая хозяев. Даже комнатку для маленькой Анечки сделали, перегородив большую комнату книжным стеллажом.

Я помню свой первый визит в эту квартиру и кроме восхищения книгами и картинами немного смешное чувство удивления: коньяк мы пили из точно таких же рюмок, что стояли у меня дома в серванте, а тахта была покрыта точно таким же одеялом в зелёную

клетку, как и у меня. В те годы журналисты ещё казались если не небожителями, то уж точно людьми из другого мира. А эти мелкие детали делали знакомство ещё более уютным.

Началась перестройка, взволнованные обсуждения уже не книжных находок, а новых литературных публикаций, а затем и политической жизни. До того мы привыкли к еженедельным обязательным пятнадцатиминутным политинформациям, на которых все, включая докладчика, дремали. И кто бы мог подумать, что мы станем не только читать газету «Правда», но ещё и бурно обсуждать прочитанное! И выборы в горсовет, на которых впервые можно было в самом деле выбрать. И вот уже Евгений Михайлович Голубовский стал депутатом. И, естественно, работал в комиссии по культуре. Бурное время надежд и разочарований, когда тяжёлый быт скрашивали новые книги, возвращение забытых имён.

В эти годы Женя стал не только журналистом, но и тележурналистом – ведущим программы «Конец века – новый век».

В новом веке Голубовский начал возвращать забытые имена не только на страницах газет и с телеэкрана.

Уже был создан Всемирный клуб одесситов, бесменным вице-председателем которого он является. И вот под эгидой клуба началось издание малотиражных книг – всего сто экземпляров. Первой вышла книга стихов Анатолия Фиолетова «О лошадях простого звания».

А затем Женя предложил следующую книгу делать вместе. Книгу Веры Инбер. И придумал название «Цветы на асфальте» – по строке из её лекции о моде 1914 года «Современные женщины – последние яркие цветы на сером асфальте города». Работа над книгой всегда приносит необычные открытия – я искала в периодике 1910-х годов лекции Веры Инбер о модах, а нашла с помощью Оли Барковской очерк Натана Инбера о жене. В те годы компьютер был роскошью невиданной, о ноутбуках вообще не слышали, и переписанный от руки текст был принесён Жене. Надо признаться, почерк у меня, мягко говоря, не самый лучший и разборчивый, но закалённый работой в газете Женя безропотно прочёл и одобрил находку.

Надо сказать, что Женя – самый мягкий из всех составителей (а делала я книги вместе с Сергеем Зеноновичем Лущиком, Сашей Розенбоймом, Аней Мисюк). Работать с ним – одно удовольствие. Увы, не все проекты состоялись – но всегда не из-за нас, а из-за обстоятельств непреодолимой силы, как говорили раньше. Попросту – из-за отсутствия денег.

Именно Женя придумал изюминку для нашего музейного сборника «Дом князя Гагарина» – вот уже шесть раз он даёт для репринтной публикации малотиражные и уникальные книги – Георгия Шенгели, Зинаиды Шишовой, Василия Каменского, Владимира Нарбута, сборники «Омфалитический Олимп» и «Первый альманах».

С начала XXI века выходит альманах «Дерибасовская – Ришельевская». И бессменный замредактора – Евгений Голубовский. Именно он вдохновляет и заставляет меня писать статьи для альманаха. Если с первым проще – то со вторым намного сложнее. Порой Женя отступается и машет рукой – и тогда я пропускаю очередной номер, а потом с обидой думаю: «Надо было Жене меня заставить! Так красиво было – десять номеров подряд мои статьи, а теперь перерыв...».

Для (или во) Всемирного клуба Женя придумал газету «Всемирные одесские новости». Был её редактором и выпустил ровно сто номеров. А потом передал в другие руки.

Книги, которые он сделал, стоят на полках Всемирного клуба – книги стихов Петра Ставрова, Юрия Олещи, Натальи Крандиевской, «Возвращение Ковчега».

И последняя книга, о которой он мечтал долгие годы и которую мы сделали вместе, – большая книга Анатолия Фиолетова «Как холодно розовым грушам...». Книга – открытие, ведь в неё вошли стихи, до того не публиковавшиеся. Книга, в которой статьи учёных из России и Америки, и, естественно, наши – моя и Голубовского.

Собственную книгу Женя сделал к восьмидесятилетию – «Глядя с Большой Арнаутской». Название географическое – не помню, то ли в 2004 то ли в 2005 семья Голубовских переехала в новую, просторную квартиру. Но так же тесно в ней увешаны



картинами все стены, так же не хватает места книгам. Как-то Женя огорчённо сказал, что Валя потребовала убрать все «толстые» перестроечные журналы, и он покорился.

Стоят на полках вперемешку старые книги и новые, громоздятся на полу стопки журналов, а на старинном столике лежат те книги, которые надо прочесть, – и вышедшие в Одессе, и присланные из других городов и стран. И, невзирая на коронавирус, изоляцию и прочие прелести современного быта, можно прийти на Большую Арнаутскую, сесть в старое уютное, слегка продавленное кресло. Сесть и говорить о книгах – старых и новых, друзьях, разъехавшихся по всему миру, о планах, о картинах, обо всём. Говорить с вице-председателем, замредактора, журналистом, книжником, другом – Евгением Голубовским. С Женей.

Вадим Ярмолинец

Хранитель оставленного дома

Избравшие журналистику пожизненной профессией хорошо помнят то, как воспринималась в ранней молодости атмосфера редакции. Это был своего рода храм, его работники казались приближёнными к обитателям горних сфер – от партийных начальников до заезжих звёзд эстрады, кино, литературы. Первые вызывали страх, вторые – зависть. ЕМ относился ко вторым, с такими хотелось дружить, но как?!

Спустя хороших сорок лет я не забуду приоткрытую из тёмного коридора дверь в его кабинет, стол под разъехавшимся во все стороны бумажным миллефо-льи, сосредоточенное лицо задумавшегося над рукописью человека. Я осторожно стучу в дверь. Сердце замирает. Можно?

Мог ли я представить, что спустя упоминавшиеся выше сорок лет Евгений Михайлович попросит у меня что-то для его альманаха? Нет, конечно. Дистанция

казалась непреодолимой, воображению не помогло даже знаменитое одесское нахальство – ещё один одесский миф, как оказалось.

В этом пиетете было, конечно, ясное понимание того, что пока ещё нечем поразить, ничем таким, с чем он постоянно работает, важное ещё не написано. Но он уже воспринимался как человек, к которому оно будет доставлено сразу после появления на свет – с пылу с жару.

Разница в возрасте и тогда, и сейчас заставляла меня смотреть на ЕМГ как на человека, умудрённого тем опытом, который мне ещё предстояло наживать. Именно он, его работа для меня, начинающего журналиста, были воплощённой надеждой на то, что в газете есть, пусть даже небольшое пространство свободной мысли, где и мне когда-нибудь найдётся рабочее место. Если повезёт.

Мне повезло. Последние два десятка лет я работаю в таком пространстве. Именно это и позволяет мне оценить талант человека, способного работать там, где искусство намёка или писания между строк ценилось не меньше таланта версификации. Поразительно, но с течением времени и сменой режимов это искусство не теряет своей ценности.

Мы не много и не часто общались в Одессе, мне иногда даже кажется, что в нашей трансатлантической переписке было сказано больше, чем при наших встречах на родине. Отсюда так хорошо знакомая многим тоска по неосуществившейся возможности

наговориться влать с тем, кто далече. Но ЕМГ один из тех считанных, кто постоянно остаётся в поле зрения, каждый день – новая статья, напоминание о корнях, непрекращающаяся культурная подпитка.

Люди, которым не повезло родиться с беспокойной склонностью к литературному труду, хорошо знают, что литературная среда живёт благодаря очень небольшой группе энтузиастов, занимающихся совершенно неблагодарным с финансовой точки зрения собиранием клубов, проведением вечеров, представлением авторов, писанием статей, постоянным подбрасыванием свежей порции дров в печурку, у которой греются авторы самого разного калибра. Все они по своей природе кустари-одиночки, им нужна заботливая нянька, духовный куратор. Евгений Михайлович – один из них. Пересматривая снимки, сделанные в Литературном музее, во Всемирном клубе одесситов, Доме Буковецкого, всегда вижу его. И пока вижу, Одесса сохраняет для меня своё притяжение.

Живя в провинции у моря, мечтаешь, как писал Бабель, быть юнгой на океанском корабле. Став юнгой, оцениваешь очаровательную камерность оставленного дома и заслуги, даже скорей героизм тех, кто сохраняет его. И если тебе как автору суждено вернуться в него своими текстами, кто ещё встретит тебя?

Нью-Йорк

Літературно-художнє видання

«Ми з тобою»

Збірка творів колективу авторів
Російською мовою

Художник – Михайло Рева

Коректура та верстання – Тетяна Коцієвська

Підписано до друку 12.11.2020
Формат 70×100/32. Папір офсетний. Гарнітура Georgia
Друк офсетний. Ум. друк. арк. 3,49. Наклад 100 прим.
Зам. № 121120/1

Надруковано у друкарні «Апрель»
ФОП Бондаренко М. О.
65045 м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 60
т. +38 048 700 11 55

Свідоцтво про внесення суб'єкту видавничої справи
до державного реєстру видавців ДК № 4684 від 13.02.2014 р.